

# ТОНКИЙ СЛОЙ

Сцены дружеских встреч и бесед

*Роман*

*О, вы все тогда вернитесь, сядьте рядом,  
Дайте слово – никогда меня не бросить  
И уже не обмануть.*

Евгений Рейн

*Некоторые явления идут в одну сторону не потому,  
что не могут идти в другую, а потому, что их проте-  
кание в обратном направлении маловероятно.*

Мартин Гарднер

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ – 1

Хочешь побывать в родном городе – на Невском, на Литейном, на Владимирском, на Первой линии – куда душе угодно, у Академии художеств, например, или вот – перед Университетом? Система видеонаблюдения. Всё просматривается. Всё прозрачно. Кстати, мальчика, которого убили на площади Восстания, перед входом в «Буквоед», тоже зафиксировали, и всю эту сцену ужасную, и убийц его, конечно, тоже – их сразу же, между прочим, и нашли. Однако тут же и отпустили. Этого никто не понимает. Видишь – цветы. Появляются время от времени. Кто-то его помнит, этого мальчика. Вот так. Теперь родной город доступен для наблюдения. То есть ты сидишь, допустим, в Лондоне, Амстердаме или Париже, но виртуально пребываешь на площади Труда (как она нынче называется? а так и называется...) и можешь заглянуть в Новую Голландию...

Нет, не хочу. Наслышаны-с...

Ну хорошо, а вот смотри, пойдём, например, по Конногвардейскому бульвару (а знаем, знаем – бульвар Профсоюзов), свернем на Почтамтскую, по Большой Морской, мимо Дома архитектора, мимо Дома Набокова, мимо Дома композиторов. Внутри совсем не то, что раньше. Можно утешиться, что и не так, как совсем-совсем раньше, до нашего появления на свет. Внутри этих красивых особняков даже виртуально тебя не пустят, но и тогда, живьём, тоже ведь так просто не пускали. Нужно было показать пропуск, удостоверяющий членство, или пригласительный билет, даже вальжному лауреату мог подозрительный, звероватый вахтер задать грозный вопрос: «Член Дома?» – ну, известно, что этот остроумец отвечал, мог себе позволить. А вот рядом там есть один дом, почти напротив Дома архитекторов, – там была коммунальная квартира во времена нашего бедного существования, и мы там были счастливы, несмотря на бедность и обделенность красивыми

нарядами. Дух веет где хочет, интеллект всюду находит пищу, а счастье складывается из сущих и бесплатных пустяков – вроде осеннего воздуха, шороха листьев, нестерпимого блеска воды, дуновений, мерцаний, прикосновений, предрассветного звона первого трамвая, совсем далёкого, едва слышного, сквозь сон, когда можно обняться и снова сладостно заснуть, – наставив, однако, ухо в сторону маленького будильника в ожидании его настойчивого писка.

Нет, неправильно, не выдумывай: будильники тогда не пищали. Будильник был большой, круглый, с блестящей металлической шапочкой и механическим заводом, дребезжал заполошно, яростно дрожал и почти подпрыгивал, опасно продвигаясь к самому краю стола, его нужно было быстро прихлопнуть и встать, немедленно встать – нечеловеческое усилие, нечеловеческое. А иначе... трагический провал в сладкую бездну сна. И последствия! О, последствия!.. лучше не вспоминать: безумное, судорожное пробуждение, метания по комнате, рваные колготки, беспомощные вопли, таинственное исчезновение второго носка, злобные крики, оборванная ляжка, поиски английской булавки, истерика, обвинения друг друга, выбегание к автобусу без завтрака и накрашенных ресниц. О! Счастье!

На Невском – переплетение проводов, растяжки (можно кликнуть, увеличить и прочесть: *два раза в день в вену* – реклама австрийских авиалиний; или – *с днём работников органов государственной безопасности российской федерации* – не надо улыбаться, не до улыбок, – прости, это у меня рефлекторное), новые вывески, всё больше латиницей, новые рестораны, кафе, хорошо видны фигуры людей, даже лица.

Знакомый человек остановился перед театром, рассматривает афишу – как постарел, бедный, шаркает, спину не держит, но еще можно узнать (а позвонить? вот отсюда и позвонить, из Мюнхена, спросить, а что ты там делал на Невском, в рабочее время? ты что – уже не работаешь, что ли? описать его куртку, меховую шапочку с козырьком, рука отведена за спину, в кулаке газетка трубочкой или тоненький журнальчик с программкой на неделю, вытянул шею, разглядывает фотографии за стеклом). Незнакомые и деловые спешат, выскочили из мерседесов, ни тени улыбки, сосредоточенные, прижимают к груди папочки, размахивают ноутбуками, как в гоголевские времена, – ну Невский же.

Две толстые тётки застыли на углу улицы Рубинштейна, у одной сумка на колёсиках, у другой внук нетерпеливо выкручивает руку, вертится, стоят на ветру, разговаривают, всем мешают – другого места не нашли. Красивый швейцар, надменный, застыл перед входом в Палас-отель. Молодые зеваки бредут медленно, никуда не торопятся, глазают по сторонам – это приезжие; парочки держатся за руки.

Кстати, ты не замечал? – в России только молодые, совсем юные, ходят обнявшись и сцепив руки, никогда не видела, чтобы взрослые, солидные люди, не говоря уж о стариках, разгуливали по улицам Питера, держась за руки, а здесь, в Мюнхене, – пожалуйста, сколько угодно: седенькие бодрые старички, трогательно приобняв своих веселых старушек, гуляют по Английскому парку; почему это?

Ну что это за банальные вопросы? какие старики? какие старушки в России? Ты же сама мне писала, что Россия страна молодости и здоровья. Старикам здесь не место.

Да-да, совсем не место. Вот так, обнявшись, ходят заграничные старички по всюду в Европе, и чем они страшнее, уродливее, тем самоувереннее держатся: вот, мол, ничего, что мы некрасивые, зато нам вместе хорошо, это мы только внешне такие непривлекательные – внутри мы само совершенство, мы не богаты, но состоятельны, путешествуем, а вы, одинокие и стройные чужестранцы, никому не нужные, завидуйте.

Смотри, какое великолепное разрешение. На мерседесах можно прочитать номера. Троллейбусы, скособочив дуги, обреченно стоят в пробке, которая тянется от Дворцовой до Московского вокзала. Съезжая с Дворцового моста, некоторые предусмотрительные и юркие машинки сразу сворачивают направо, облегченно вздыхают, несутся по набережной, пытаются объехать пробку, надеются. Однако напрасно: там тоже пробка скоро начнётся – мы-то видим отсюда (зачем нам это знать – вот что непонятно, очень много лишнего знания насыпано в наши головы, оттого не только многие печали, но, главным образом, непроходимые дебри бессмыслицы, то, о чем ты говоришь, дорогая моя, – это не знание, это называется информация, её действительно многовато, – да ладно тебе, крути дальше...).

А это кто? Перебегает с набережной к Менделеевской линии прямо перед носом автобуса, пальто распахнуто, шарф на ветру, несётся мимо почты, в руках старый неуклюжий портфель, – помню этот портфель, треугольный, гармошкой, очень вместительный; несётся, говоришь, мимо почты, какая почта? никакой почты там давно нет, там ресторан «Град Петров», телятина на углях; о Боже! да ведь и его нет, нет его на свете, но это он, он, его походка, его пальто и облезлый клетчатый шарф, мохеровый, слово вот вспомнилось, а шарфы эти давно истлели, съедены молью и временем. Что это за картинки показывают?.. какой это год, в конце-то концов? Подсунули? Не нравится – не смотри. Выключи, и всё. Нет, но все-таки интересно. Одним глазком. Этот портфель, кстати, тот самый. Они стояли с Тимофеевым в каком-то гастрономе. Уже побывали в рюмочной или в Бермудском треугольнике. Помнишь Бермудский треугольник – в начале Большого, между Пельменной, винным магазином и Шарами (кафе такое, несколько ступенек в подвальный грязный и шумный уют, мы так его называли – «Шары»: там перед входом были фонари, два огромных матовых шара, – а вообще оно было без названия). Как раз треугольник получался. Вечером, являясь домой в еще эйфорическом подпитии, не перешедшем в агрессивную стадию, простодушно разводил руками: «Ну вот, ну прости, попал в Бермудский треугольник». Может быть, они как раз в этом гастрономе и стояли, да, это точно был гастроном, просто с популярным винным отделом, где распитие было запрещено, но всячески поощрялось. Вот они и распивали. Чистый стакан добрые продавщицы давали даром. Еще одна бутылка у них была с собой: купили заранее, засунули в портфель. Портфель он поставил на усыпанный опилками мокрый пол, на скользкие керамические плитки, прижал ногами, так я себе представляю – он потом так и рассказывал. Разговаривали, увлеклись, всё забыли, как всегда, а портфель-то и увели, вытянули тихонечко по склизким плиточкам между ног – они и не заметили. Ничего там не было ценного, ну, бутылка, да; свитер старый, кожаные перчатки, мой подарок, между прочим, но... был там секретный отчет, который вообще нельзя было с кафедры выносить. Наказание за это дело предстояло ужасное. Вплоть до увольнения. Пришел домой вместе с Тимофеевым – личики враз протрезвевшие, зеленоватые, сосредоточенные; взял еще какие-то деньги, «куда? с ума сошел?», «не волнуйся, верну, это на всякий случай», исчезли. И, представляешь, нашли портфель. Алкоголики местные и нашли – вошли в положение: вычислили, бегали, перешептывались, провели алкогольное расследование – и нашли. Портфель вернули вместе с отчетом. За щедрое вознаграждение в виде бутылки. Свитер и перчатки не вернули. Но у нас была радость – не передать. А у них целых две бутылки. Тоже радость немалая...

Да нет. Это не он...

Двойник его что ли?

Никакой не двойник, просто похож...

...Со мной точно такая же история. Я их постоянно встречаю... преимущественно тех, кто умер. С умершими у меня вообще – знаешь, как получается. Абсолютно отчетливое ощущение: пока я здесь, они там, в России, – живы, и я думаю о них как о живых. И даже когда возвращаюсь, некоторое время это длится, мне представляется: сейчас поеду к ним, обниму. С усилием нужно стряхнуть с себя это ожидание. Помню, прилетела в необычное время – ну, для меня необычное, летом, в июне, у людей уже летнее настроение, разбегаются кто по дачам, кто в Анталию. Я стараюсь осенью, чтобы всех повидать. Но пришлось почему-то в июне. И сразу решила поехать на кладбище. И на могиле у мамы и бабушки увидела огромный куст цветущего жасмина, такой аромат волшебный. Кто посадил? Когда? Может быть, студенты посадили, одна бывшая студентка – теперь-то она одинокая старушенция – особенно всегда старалась, ухаживала за могилой. Но я не помню, чтобы этот куст... Ну я же говорю, в сентябре прилетела обычно, по листьям не умею узнавать – возможно, он и раньше был, я не обратила внимания, а тут начало лета, прекрасный праздничный куст, цветущий, белый. Такую почувствовала радость... и желание немедленно позвонить маме, обрадовать. Рука буквально тянется к телефону... читаю на камне её имя. Представляешь? Рехнуться можно. Всё происходит одновременно.

Да... Так вот, двойники. Один просто потряс. Я вышла из Толстовской библиотеки, остановилась и вижу: идёт Лёничка Беляков, держит под руку не знакомую мне женщину. Похож просто как две капли. Только немного моложе. Я так себе и говорю: просто очень похож. Успокаиваю себя, привожу к общему знаменателю реальности. А с другой стороны, с ужасом понимаю, что такого сходства не может быть. Прошли мимо меня, и он на меня посмотрел. То ли изумленно, то ли предупреждающе... Я пошла за ними, на некотором расстоянии, у перекрёстка они повернули. И я повернула, хотя мне надо было совершенно в другую сторону, дальше, к метро. Иду за ними и вижу, что походка у него такая знакомая, и жесты его, только его, и голову так дурашливо склонил к плечу – что-то даме своей шепчет. Почему я не подошла ближе и не убедилась, что он говорит по-немецки? Сейчас я удивляюсь и не могу на этот вопрос ответить. Как будто я боялась...

В религии вуду такие штуки известны. А чего ты боялась? Чего?

Ну, чтобы он не понял, что я догадалась. Как будто боялась спугнуть. Ну живёт человек в параллельном мире, и не трогайте его. И выглядел очень хорошо. Ну не больше пятидесяти... даже меньше...

Ну да. Практически сорок девять. А ведь ему именно сорок девять исполнялось, когда ты пришла к нему на день рождения, был сентябрь, довольно холодный, оказалось так кстати, был повод всем новые красивые сапоги показать и плащ... да, замечательный, светлый, стального цвета. Еще все были живы. Между прочим, в параллельном мире он мог бы и по-немецки свободно болтать. Там же все возможно. Душа вот на каком языке говорит? Просто ты боялась, что твое наваждение исчезнет. А – не хочется. Не хочется с ними расставаться. Плоские объяснения раздражают. Видения наши обладают гипнотической силой. От них трудно оторваться, как иногда трудно отключить телевизор, даже если показывают ерунду. И мне тоже часто встречаются люди, очень похожие на тех, кого мы помним, кто был когда-то рядом, с кем учились или работали, с кем дружили, но почему-то разошлись – нет, не поссорились, а просто отнесло отливом. Я даже и не знаю, живы они или нет. Так давно о них ничего не слышно. Как правило они значительно моложе себя теперешних. Вот недавно мимо меня пробежал Шурик Абрамов, вскочил в автобус и поехал себе...

Но ведь Шурик умер... А ты говоришь – теперешних.

Да... верно, действительно, ты права. Всё больше встречаются те, кого уже нет на этом свете. Сколько раз я вздрагивал, когда видел старую женщину в бедном темном пальто, воротник – вытертая полоска жалкой норки, на голове нелепый берет, самовязанный, и цвет совпадал, такой сероватенький, утраченной пушистости. Всё. Застывал как безумный. Вблизи видение, разумеется, исчезало, но думал и вспоминал маму весь день. А недавно... кого мы с тобой встретили... Помнишь? Эльгу, помнишь, мы с тобой вместе встретили в Нимфенбурге, в кафе, совсем недавно, ты же меня и остановила, схватила за рукав: «Посмотри, как похожа на Эльгу». Сидела, свесив свои волосики над стаканом, иногда отводила их рукой – вот действительно, жесты выдают, это ты правильно заметила...

Да, да! Почему-то самое мимолётное, пустяковое, необъяснимое: жесты, интонация, взгляды, походка, неуловимые какие-то ужимки – и определяют... нашу память, а также всякие наши влечения и симпатии.

...Как я по ней скучаю – все-таки очень она хорошая была, ни о ком слова дурного никогда не сказала, если уж кого-то любила, то беззаветно, фанатка дружбы, беззаветная – так мы её и называли, посмеиваясь. Очень скучаю, как вспомню – слёзы на глазах, а смерть какая нелепая, ведь могли спасти, она, в общем, здоровенькая была, ничем никогда не болела. От деликатности своей и померла, стеснялась позвать на помощь. Но все-таки мне и живые попадались, я как-то видел в Амстердаме, на скамеечке в Сарпатипарке, молодого человека – сидел один, глазки так характерно шурил, как будто что-то замышлял, из бутылочки прихлёбывал – мы с ним вместе на сборах были, он всегда что-то придумывал – смешил народ, потом какое-то время встречались в разных компаниях, недолго; он у меня в одном доме – что-то мы там праздновали – девушку отбил, с налёту, нагло, сам, по видимому, не заметил, ворвался уже в легком подпитии, веселый, без тормозов, схватил её за руку, просто оторвал от меня, заставил танцевать, падал перед ней на колени, руки целовал, она хохотала, и все вокруг смеялись – так с ним и ушла, с обаятельным, а я потом шел один по темной улице к себе домой, глотая злые слезы...

Слёзы? Так я тебе и поверила. У тебя не бывает слёз. Злые да, но... не слёзы, нет.

Ну хорошо.

Пусть это фигура речи. А вообще – много ты про меня понимаешь. Так вот... он точно жив, процветает, довольно известный теперь человек и, должно быть, богатый, толстый такой стал, широкий, циничный, как все они. В телевизоре мелькает, постарел – но узнаваем. Однако в Амстердаме-то я его увидел вполне еще молодым. Так не раз случалось, и других показывали. Зачем?

Ну, те молодые, кого мы помним, – они ведь тоже в определенном смысле... ну ... исчезли... переселились куда-то и там живут вечно, и мы их иногда встречаем.

И самих себя можем встретить?

Наверное... Но себя мы можем и не узнать, только сердце сожмётся, замечутся волны памяти, пробегут спазмы по сосудам, улыбнётся нам двойник и пойдёт дальше.

Говорят, от себя не убежишь. Еще как убежишь. Даже сам того не желая. Вот как раз когда желаешь – не убежишь. А так все время покидаешь себя, течение

уносит. Открываю книгу и вижу пометки на полях, и не могу вспомнить, что означают эти значки, что это за подчеркивания, что за знаки вопроса я когда-то расставил, и птички там и сям – все забыл, а хотел ведь сюда вернуться, подумать, а над чем думать? Не помню совсем своих тогдашних мыслей. Даже явилось подозрение: может быть, кто-то брал у меня эту книгу и погулял вольготно на её страницах с карандашиком. Но нет, нет. Точно помню: никому не давал, никому она и не нужна, это я там был, это я такие птички ставлю, это мой почерк, там буквы встречались типа «ха-ха», причем с восклицательным знаком.

То есть, мы меняем души, не тела? Ты это хочешь сказать?

Ну... ну уж нет... Тела еще хуже... ну... это... трансформируются.

Как всё изменилось, уму непостижимо: компьютеры, Интернет, ничего этого тогда не было. А помнишь, в лаборатории появились первые компьютеры, страшные, отечественные, выкрашены серой гнусной краской, но всё-таки – компьютеры. После работы мальчики не уходили – какие мальчики? Ну не придирайся, для нас ведь они навсегда мальчики – толпились вокруг, отталкивали друг друга, играли в какие-то стрелялки, взрослые люди, чтобы не сказать больше, но вели себя совершенно как дети, не выгнать было – уборщица попробовала, пришла со шваброй и ведром, начала шваброй махать, хрипло прокричала что-то, никто не услышал, постояла, ругнулась, плюнула и ушла; потом заглянули водопроводчики, вежливо спросили – их тоже не услышали, отмахнулись; водопроводчики видят такое дело – взяли новую меховую шапку Шурика Акулова и смылись.

А вот смотри, это что за перекресток? Знакомый, ужасно знакомый – да это же Восьмая и Средний. На углу была самая отвратительная столовая, называлась в народе «Лондон», ударение делали на последнем почему-то слогге. Да, на втором этаже столовая, а на первом «Кулинария», запахи там тоже были... не уточняй, у меня вот... даже сейчас, век спустя, начинает болеть голова и... подташнивает, но иногда, как ни странно, там можно было купить вполне хорошие эскалопы какие-нибудь, а так – лежали котлетки из булки за семь копеек. Это в Ленинграде говорили «булка», а москвичи сказали бы – из «белого хлеба». В булочную бабушка посылала купить хлеба-булки, хлеб – это всегда означало «круглый», а булка – батон, сероватенький, за тринадцать копеек, иногда за шестнадцать – он был чуть белее. Подумать только, ведь я не узнала. А линий трамвайных нет, вот и не узнать. Когда же линии сняли? Совсем по-другому выглядит. Поверни чуть-чуть. Хочу посмотреть на этот угол, здесь вход был в гастроном, две ступеньки вниз, бегали сюда за сливочными тянучками, каждая на папиросной бумажной подложке, кофейные, самые тёмные, мне не особенно нравились – они горьковатые были, но стеснялась попросить продавщицу, чтобы без кофейных, она и так была к нам снисходительна: покупали ведь только по сто грамм, затрудняли солидную тётеньку. Она загребала тянучки в горсть не глядя, кидала на весы, добавляла по одной или убирала, добросовестно иногда ломала толстую палочку. Мы приподнимались на цыпочки, протягивали руки, и откуда-то сверху, скользя по цилиндрическому боку стекляной витрины к нам спускался крошечный кулёк из серой толстой бумаги. О незабываемый перекресток! На углу когда-то был коммиссионный магазин, работала там знакомая девушка, славная, кое-что оставляла – без знакомств невозможно было одеться. Детям незнакомы слова: *из-под прилавка*. Исчезло это выражение из русского языка; да-да, а теперь это как раз компьютерный магазин, называется «Кей», долго реклама висела: «Если мама сдохла, приходи в кей» – люди вздрагивали, святое слово «мама» теперь не висит, президент сказал, что кощунствовать уже не модно.

Ну Интернет, это ладно, это все уже привыкли, а вот что я видел давеча в одном месте, да, пригласили как эксперта. Представь: инвалидное кресло, в нем как бы парализованный сидит, то есть рукой-ногой шевелить не может, но голова у него, допустим, в порядке, и он силой мысли управляет, посылает мысленные импульсы, в уме выдаёт команду, хочет – кресло едет направо, хочет – налево, назад, снова вперед, разворачивается; на башке у него, конечно, такая нащёлка, вроде шлема, от него как бы проводочки идут к моторчикам.

Зачем проводочки, ты что? зачем? какой ты, однако, традиционалист.

Да-да, ты права – никаких проводочков и не было, это я для наглядности, специально для тебя. Никаких проводочков, ну, такие виртуальные пути, испытуемый в своей голове импульс выдал, что-то там замкнулось, дигитально преобразовалось – и кресло поехало. Но это ведь только начало. И знаешь, если бы я помоложе был, я бы испугался. А так... даже забавно, поскольку мы не доживём. Но все-таки страшновато, учитывая какими темпами всё развивается. Просто у нас на глазах. Помнишь эти огромные ЭВМ? Дети, не выпускающие мышку из рук, наверное уже и не знают, как эта аббревиатура расшифровывается. А ты помнишь?

Ну... мой склероз еще не достиг таких оглушительных размеров... чтобы не помнить, у меня до сих пор дома валяются эти карточки, пустые перфокарты, очень удобные, бабушка на них рецепты записывала, я и сейчас ими пользуюсь. Ну ладно, не отвлекайся. На что ты, собственно, намекаешь?

А ты не понимаешь, что ли? Уверен, что ты прекрасно понимаешь, что это значит. По этим виртуальным путям можно более сложные импульсы распознавать.

Ага – они наши мысли будут читать?

Ну да, вот именно, наши мысли, причём с нашей же помощью. Мы им охотно помогаем.

Так вот, значит, чем ты занимаешься.

Да нет, я имею в виду условное «мы», просто такие, как мы. Я ведь себе приблизительно представляю, как это можно сделать...

...Не задумываясь, как водится, о последствиях.

Ну, во-первых, мне еще никто не предлагал, а во-вторых, думай-не думай, а если что-то уже можно сделать, то это будет сделано обязательно. В воздухе носится. Задача-то интересная. Ну что тебе еще показать...

## ГЛАВА ВТОРАЯ. ТИНА. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА

Женщина выходит из дому без всякой цели, идет вдоль улицы, пересекает площадь, глаза у неё невидящие. Она похожа на сомнамбулу. Ей кажется, что потемнел сам воздух и наступила мертвая тишина. В этих сумерках неслышно перемещаются люди, автобусы и трамваи. В небе, однако, светит бледное солнце.

«Как будто началась война», – думает женщина. У неё еще хватает сил внутренне усмехнуться. Сомнамбулы иногда смотрят на себя со стороны. И то, что светит солнце, она хорошо понимает. В глазах потемнело – вот что это такое. Эта темнота не зависит от времени суток, состояния облачности и времени года.

Да, нехорошо читать чужие письма, а хоть бы и электронные. Может быть, он нарочно оставил. Не выбросил из корзинки удаленное письмецо.

Сказано же: пи-си, персональный компьютер, персональное убежище – так нет же: снова вокруг него устраивается коммунальная толкотня и препирательства. Второй компьютер, старенький, выделенный Павлом для общего пользования, унес Андрей в своё логово, никого не спросил, приехал с дружком днем, когда в квартире была одна старуха, всё увезли, все прибамбасы: и колонки, и сканер, и даже удобную лампочку на гибкой пружинке, которую подарил Ирочке её мальчик. Сколько слёз было и криков. Лампочку потом Андрей принёс, так же незаметно,

когда никого дома не было, оставил в кухне на столе и ключи бросил на стол. Ушел, захлопнул дверь.

Старуха-свекровь тоже теперь приползает к Павлу в кабинет, пока он на работе, включает компьютер – научили на свою голову, норовит залезть в любимый медицинский сайт – медицина её, естественно, интересует больше всего, – потом по телефону рассказывает восхищенным подругам новости продления жизни, хвастается сохранностью интеллекта. Молодые восьмидесятилетние подруги (для неё сущие девчонки, других-то не осталось) только ахают.

Внучка завела свой пароль, секретничает, да ничего там интересного в её живом журнале и нет, как раз к ней никто и не заглядывает.

Кто-нибудь, наблюдающий сверху, мог бы, однако, предупредить: не заходите в чужие дневники и письма (этика ни при чём), особенно очень близких людей – там ждут вас неприятные открытия.

Что это за мягкое слово такое – неприятные. Но не смертельные же.

Неужели подстроил – ведь так легче, чем слова говорить, «выяснять отношения», наблюдать твою реакцию, объясняться с матерью, её-то куда девать.

У супермаркета женщину увидела старая знакомая, расплылась улыбкой навстречу, но слепые сомнамбулические глаза не пустили её внутрь, и знакомая остановилась и несколько мгновений смотрела ей вслед.

Женщина идет по лужам, просто их не замечает, собственно, их обойти невозможно – весь город в этот день неожиданно превратился в огромную лужу, хотя по календарю – зима.

Она поднимает воротник – шарф остался дома, горло холодит промозглый воздух, ох, обещали вторую волну гриппа. Какие только мысли не мелькают в пустой голове. Старухе, видите ли, особые бублики нужны. Вылезла на своих ходунках в коридор. Ни минуты покоя. «Позвоните Насте, у неё там рядом булочная. – Нет, я именно тебя прошу, я хочу нормальные, настоящие, человеческие бублики, а Настя, я её знаю, нарочно купит эти квёлые, пупырчатые. Только чтобы отделаться».

В левом сапоге уже точно хлопает. Старые сапоги давно промокли, по ним извиваются соляные разводы. Настя права. Давно пора их выбросить. «Дай сюда, я их выброшу на помойку». – «Отстань. Я люблю старые вещи». – «Скажи еще: старые, добротные вещи. Ночью специально встану и затолкаю в мусоропровод». – «Попробуй только».

Сильный ветер нападает на людей, пронесит мимо и несет дальше мерзкий бумажный сор, прохожие поворачиваются к ветру спиной и так продвигаются к супермаркету, нахохлившись и подняв плечи. Молодая мама тянет за руку маленькую девочку, ветер относит девочку, как воздушный шарик, девочка мелко-мелко перебирает ножками, плачет.

Женщина останавливается у набережной, подставляет лицо бледному холодному солнцу, закрывает глаза и, сцепив руки у горла, заставляет себя думать.

Что же делать? что же делать? – по-видимому, твердит себе женщина, смиряет первый нерасчетливый, эгоистический и отчаянный порыв, понимает: он будет неправильным, его надо преодолеть. Ничего она не твердит. Она просто застывает. О, если бы так застыть навеки, превратиться в тот самый столб – не умереть, а просто перестать быть и за всё отвечать: за одиночество дочери, за хамство внучки, за маразм свекрови, за инфаркт мужа, за собственную астму. Соляными столбами размечена дорога из прошлого в невыносимые безвоздушные сумерки. Она чувствует первый признак удушья, с ужасом ищет в карманах ингалятор, от



страха, что оставила его дома, начинает задыхаться по-настоящему, наконец нащупывает во внутреннем карманчике гладкий баллончик, сжимает его в руке, успокаивается, делает несколько спокойных вдохов и возвращается в свою темноту.

Прибрежный подтаявший лед усеян палками, бутылками, смятыми пивными банками, замерзшими собачьими загогулинами. По серому мокрому льду с ликующими воплями гоняются друг за другом мальчишки. Согнувшись, опираясь на лыжные палки, медленно бродят взад-вперед унылые фигуры, внимательно смотрят себе под ноги, останавливаются, выковыривают палками из грязного снега бутылки, засовывают в старинные рюкзаки, переругиваются с конкурентами. Негромкий зловещий хруст. С диким криком мальчишка проваливается в воду, кто-то свистит, бабки воют. Женщина открывает глаза и равнодушно наблюдает копошение черных тел внизу.

Приняв решение, она вздыхает с облегчением. То есть она решает ничего не решать окончательно и поворачивает обратно к супермаркету – там у входа в хлебном ларьке продаются настоящие бублики.

Женщину зовут Тина – или Валентина, кому как нравится. Имя Валечка она ненавидит.

Тину не оставляет подозрение, что Павел сам подсказал ей пароль. «Ну и пусть», – говорит себе Тина, уставясь в монитор. Давно уже ожидание ночного тайного чтения, когда всё затихнет и дети уgomонятся, наполняет её день мучительным и горьким смыслом. Почти случайно заглядывает она в последнюю жж-запись Иринки (шел в одну комнату, попал в другую – так бывает).

*«Дорогие френды, в прошлый раз Ден громогласно заявил, что у меня отклонения. И я начала думать, что, может быть, он прав, а у Ксюшиной матери есть знакомая психиатричка, ну, т. е. психиаторша, врач она, и она была у них как раз в гостях; Ксюша отозвала её, а потом машет мне: поговори с ней, она такая отличная тетка, ей все можно рассказать. И я с ней поговорила совершенно нормально и рассказала, что когда привезли нас на Пискарёвское, я начала плакать безумно, просто рыдать, не могла остановиться, хотя понимала, что это было давно, ну, после той революции, но все-таки очень давно и почти неправда, это я понимала, но ничего не могла с собой поделать. И психиаторша эта сказала, что сама плачет, когда видит блокадные фотографии, и это абсолютно нормально, потому что мы родились в Ленинграде. А вот её мать не плакала, когда идущую перед ней тетку убило осколком во время налета, – побежала дальше, она (не психиаторша, а её мать) в госпиталь опаздывала, на дежурство. Тётка упала, и сумку её кто-то подхватил, вырвал и тоже дальше побежал. А мальчик, ребенок этой тетки, прижался к стене и остался под обстрелом, смотрел жуткими глазами, а её раненные ждали, она не могла этому мальчику помочь. А в сумке, возможно, карточки были или хлеб. И никто не плакал. Вот это ненормально. А у меня тонкая организация».*

Тина на мгновение умиляется («какая скрытная, трогательная девочка»), но цель её другая, и мышка рыщет и скользит дальше.

*«...а когда она сердится или перед тем, как заплакать, нос морщит – ну совершенно как ты, даже удивительно, не только я заметила, Стасик прошлый раз глянул, когда она выплевывала морковное пюре, засмеялся и говорит: ну чисто Павел Алексаньч: ежели что не нравится... Эти памперсы, с голубенькой картинкой, больше не покупай. Они пока нам велики. Но ничего, не пропадут.*

*...Начало я переделала, ты был прав, как всегда. Каждый раз поражаюсь, как мгновенно ты всё схватывашь, то, над чем я билась неделями, ты гений, гений...*

Я спорила из чистой дурости. Посмотри, я там поменяла куски. Так, мне кажется, лучше... библиографию проверить не успела, не сердись – уже поздно, ничего не соображаю, до завтра, дорогой...

Да, прости, пожалуйста, что напоминаю: если бы ты устроил Стасика на среду, а?»

«Господь, в существовании которого я сомневаюсь, велел нам сохранять мужество, избегать уныния и исполнять свой долг. А что касается моих сомнений – значит, так он устроил мои мозги, значит, зачем-то мои сомнения нужны. К тебе они не имеют никакого отношения. Это мои проблемы. Мне очень жаль, что этот разговор вылился в дурацкий спор, – о чем здесь можно спорить: непроверяемо, потому что недоказуемо, и сойдемся на этом. Я не хотел тебя обидеть. Вот сейчас пришел домой, поразмыслил, вспомнил твоё обиженное личико и понимаю, что все-таки погорячился. Если ты хочешь крестить Таточку, считаешь, что это поможет, успокоит тебя, я совсем не возражаю. Ты просто не так меня поняла. До завтра, мартышка. Спокойной ночи».

Кто-то скребется в дверь.

– Валечка, прости, пожалуйста, я вижу, ты не спишь. Где у нас йод?

Переваливаясь на ходунках, старуха протягивает ей окровавленный палец.

– О Господи...

Тина закрывает все окошки, замечает следы, гасит монитор, но компьютер не выключает – надеется вернуться, идет на кухню – йода нет нигде.

– Представляешь, он прокусил мне палец, он мне мстит за вчерашнее.

Тина даже не вдумывается, что там у них с котом вчера произошло. Вопросов лучше не задавать – можно нарваться на длинный страстный рассказ.

– Ну не знаю я, где йод. Высох весь.

– Как же так, как же так, Валечка. В доме дети, и нет йода.

Находится зеленка, потом пластырь. Старуха явно хочет поговорить, что-то лепечет, заглядывает в лицо, трясет маленькой седой головой – прокушенный палец и кровь лишь повод. Тина кипит, но сдерживает себя: ну не сама же она себе, в конце-концов, палец прокусила. Надо терпеть.

– Валечка, я должна тебе сказать...

– Два часа ночи, у меня нет сил... идите спать.

– Да не могу я спать. Ты же знаешь: два часа ночи – это моё время. Сидеть у компьютера у тебя, между прочим, силы есть.

– Были, а теперь вот нет, именно сейчас я собираюсь спать.

– Но пока ведь ты не спишь. Я должна тебе сказать, он меня просто преследует и даже издевается. Это началось с Сонечкиного дня рождения, когда я на него замахнулась, но он сам виноват – лег мне на большую ногу. Когда вы уходите, он вообще ведет себя безобразно, разляжется на проходе нарочно – я на ходунках не могу в туалет пройти. Хоть плачь. Видит, что вас нет, и я абсолютно беспомощна.

– Вы хотите, чтобы я с ним поговорила?

– Возможно, это смешно, но он всё понимает...

– Хорошо, я поговорю.

Тина возвращается к компьютеру. Неожиданного прихода Павла можно не опасаться: он позвонил в семь, сказал, что с трех часов заседают в Сосновом Бору, и конца не видно, в город не вернется, потому что завтра с утра опять... предупредил, что телефон отключает – заседание. Всю ночь они, что ли, будут заседать. Почему потом нельзя включить. Ну конечно, скажет, что совсем замотался, просто забыл.

Короткие письма сопровождаются научными аттачментами. Несколько вариантов. Вот какая работающая девушка, оказывается. С другой стороны, грант надо обрабатывать. Маленький ребенок, там, или большой – никого не колышет.

Тина помнит её совсем молодой: приехала из Свердловска, непонятно, как – может быть, через фиктивный брак, зацепилась в Ленинграде, попала в институт через каких-то друзей, по мелкому благу, а дальше все сама, сама – вот это надо признать. Делала то, что никто не делал, что делать было не принято, вдруг явилась к ученому секретарю: «Я хочу поступить в аспирантуру, в заочную». «Прекрасно, – ответил ученый секретарь спокойно, решил, что девушка не в себе, – хотя и хорошенькая, но странная. – И к кому, позвольте полюбопытствовать? Кто же будет вашим научным руководителем?» – «Пожалуйста, не считайте меня ненормальной, – ответила девушка, – может быть, вы что-нибудь посоветуете. Я могу очень хорошо работать». – «Но так не делается», – слабо и даже беспомощно возразил ученый секретарь. Следуя формальной логике, девушка была права, он сам недавно составлял объявления о приёме в аспирантуру, рассылал их в другие институты и в разные информационные листки Академии наук, и там, в этих листках рекомендовалось обращаться именно к нему и стояли его телефоны. И не имело смысла объяснять странной посетительнице что, как правило к ученому секретарю обращаются сами научные руководители и просят оформить на своего предполагаемого аспиранта все необходимые бумажки, посадить его в привычную машину, которая целых три года будет исправно везти к хорошему результату, к ощутимому увеличению зарплаты, да, не имело смысла: судя по всему, она и сама это понимала – просто не нашла еще такого научного руководителя, а хотелось поскорее, спешила. Ученый секретарь, однако, был человеком добрым, в то время встречались такие, и уже прикидывал в уме, куда её все-таки девать. «Оставьте мне свой телефон». И девушка тотчас же вытащила из кармана заготовленную карточку с телефоном – была она к тому же еще и очень предусмотрительная, визитными карточками запаслась, самодельными. «А если вы забудете? Вы позволите, я вас снова побеспокою?» – «Я не забуду». Девушка повернулась и пошла к двери. Ученый секретарь посмотрел ей вслед: «Ишь ты, и ножки у неё, однако...»

Не забыл ученый секретарь, начал звонить разным докторам, Павлу позвонил одному из первых, тем более Павел был его друг: «Такая забавная мартышка, провинциалочка, даже интересно: а вдруг чего-нибудь получится, я тебе её пришлю, ты посмотри, брось её на вычисление сечений или еще куда...». У Павла была одна темка, за которую не взялся бы ни один столичный физический мальчик, очень уж скучная, зоологическая, как презрительно эти самодовольные мальчики сказали бы. Но кому-то надо было её делать. Вот так Ольга и появилась у Павла в лаборатории. Пришла тихая, но не робкая – робости в ней никогда не было, тихое стремление идти на всё – это было точно, но в границах приличий она старалась все-таки оставаться, каждый раз одной ножкой эту границу переступая, – словно щупала ледяную воду и тут же отскакивала назад.

Павел протянул ей толстый том: «Это наш отчет, почитайте, подумайте, через неделю поговорим, ссылки внимательно посмотрите, всё то же самое нужно сделать для других активаторов, работа довольно простая, но трудоемкая, зато – верняк». Девушка удалилась, через неделю вернула отчет: «Я согласна».

«Кто бы сомневался», – сказали ехидные сотрудницы, им никто верной темы не предлагал, к тому же они были химики, варили стекла, да и по возрасту поздно им уже было, и вообще... А на их стеклах все диссертации делали. Ну не обидно ли?

Так что встретили её в лаборатории не очень дружелюбно, к общим чаепитиям никогда не приглашали, домашними пирожками не угощали, на посторонние темы не заговаривали, да она и сама к ним обращалась только по делу, тихим голосом, вежливо, а делом она занималась с раннего утра до позднего вечера, почти не

выходила из-за своих черных занавесок, где в темноте с сухим шелестом падали из самописца бесконечные ленты спектров – компьютеров тогда ведь не было. И спектры обрабатывала вручную: сидела, ссутулившись, за своим столом в уголке, считала на логарифмической линейке – каменный век, даже трудно представить. У химиков-технологов, кстати, были калькуляторы, старинные такие, черные, облезлые, ручку надо было крутить с ощутимым усилием – тоже теперь, должно быть, в музее пылятся, если есть такие музеи, конечно.

Никто не спешил ей на помощь – разве что какой-нибудь дипломник поможет слить гелий, а так сама таскала тяжелые дьюары. Никто не помогал. Вроде бы даже кто-то постоянно мешал. Злой дух вредил. Ну, может быть, обыкновенное невезенье, однако какие-то образцы её странным образом исчезали прямо из стола, заказы у оптиков лежали себе и лежали, пока она не сообразила выбить, непонятно какими неправдами, дополнительный индивидуальный спирт и хранила его в сейфе в кабинете у Павла. Ему она, кстати, в рот смотрела с первого дня, причём вполне искренне, даже как-то простодушно, как подсолнух, поворачивала глаза свои за ним, все это видели, смеялись. Чувства свои не умела скрывать или не хотела. Те, которые умели, злились: это она нарочно. Но постепенно всё улеглось. Привыкли, как привыкают ко всякой новенькой. Стекловар Макар Федорович химичкам даже глаза колот: «А она работающая и ни к кому не вяжется, как некоторые». – «Да уж, кто тебе нальет, тот и хорош».

Тина увидела её первый раз на лабораторном празднике. Да, точно, это был юбилей Карлинской, потому и пришла – неудобно было не прийти, юбилярша специально домой звонила. Не очень хотелось возвращаться в опостылевшие стены, в чужую компанию – все их интересы стали чужими с тех пор, как ушла из института. Приехала почти к самому концу праздника, когда все уже насытились дежурными салатами и расползлись от столов, разбились на маленькие группки. В углу начинала тренькать гитара. Курящие вышли в коридор, и оттуда неслись взрывы дружного хохота. «А вот познакомься, это наша Оля», – подвёл Павел к ней бледное создание («не такая уж и хорошенькая»), приобнял девушку за плечи – отеческая ласка. Тина едва взглянула. Не очень, наверное, вежливо вышло. Ну Оля и Оля, много их к тому времени было, до этого была Танечка-экономистка, а до Танечки вообще какая-то лаборантка с роскошным именем Изольда – на всех не навзглядываешься. «Как тебе наша Оля?» – выбрала момент Карлинская, наклонилась к Тине, многозначительно заглянула в глаза. Тина пожалала плечами спокойно и безразлично, но как-то так, что Карлинская примолкла, – а видно было, хочет еще что-то сказать. А все-таки сказала: «Провинциалки очень цепкие», – и вздохнула.

Потом и письма какие-то писали, анонимные. Показала Павлу. «Какая гадость, – сказал, скривившись, – могла бы и не распечатывать». – «Как ты себе это представляешь – выбросить не распечатывая?» – «Вот именно». – «Да откуда мне знать, что там?» Повернулся резко, фыркнул, ушел, закрылся в своем кабинете.

Карлинская писем не писала, конечно. Было кому писать и без неё, но звонила, держала в курсе, учила жить, предупреждала: «Имей в виду: они (имелись в виду мужчины, все) в определенном возрасте тоже начинают любить ушами, он её сделал секретарём нашего ученого совета, представляешь. Оказалось, она умеет говорить, причём неплохо, мы и не знали, златоустка просто, словно реченька журчит, но уж так его славословит, так превозносит – противно слушать».

«Да, вот я такая, – говорит себе Тина или не себе, – неинтеллигентная, непорядочная, а вы благовоспитанные, у вас высшие интересы, а я должна знать, что меня ждет. У вас свои высшие интересы – у меня свои высшие интересы».

*«Я тут пока в метро ехал, вот что подумал. Только ты не обижайся: не в деньгах дело, ты знаешь: я не жмот. Просто вариант сомнительный. Что-то уж*

*слишком много посредников. Не хочется связываться. Обманут, многих уж так обманули, и деньги не вернешь. Когда получим грант из Беркли, буду действовать напрямую, через Леонида – он еще никого не обманул. А что касается временно-го варианта, этой самой квартирки на Ветеранов, – 400 баксов за двухкомнатную чёрт знает где, вот именно – у чёрта на куличках, все-таки дороговато. Если честно, не очень мне этот маклер понравился. И баба эта – приторная какая-то и скользкая. И всего лишь на год, а потом что? снова переезжать? Потерпи немного, подожди: у меня зреет идея. Башутин на девять месяцев отваливает в Корею, а может быть, и на год. За его квартиру ничего не надо будет платить – только коммунальные платежи, я уже закидывал удочки – все-таки он мне обязан... Завтра совсем не могу. Манежик тебе завезет Стасик, а я не смогу. Как только вырвусь, позвоню. Поцелуй малявку».*

Вот, значит, как. Колька Башутин едет в Южную Корею, его квартирка наклеивается почти бесплатно, но не для Насти, у которой последние годочки уходят, в одной-то комнате с девчонками, – так теперь никто уже не живёт, могла бы еще нормального мужика найти. Ага, и Стас у них на посылках, а когда надо было старуху в травму везти, Павел пальцем не пошевелил... ради собственной матери. Ласково запел: «Девочки, вы уж без меня, я понимаю, но я не могу встать и уйти – ученый совет, понятно вам? Без меня кворума не будет и все к ебням полетит, понятно вам? На секунду вот выскочил...». И сам не приехал, и Стаса не прислал. Стас, видите ли, так страшно загружен был – ни на час не мог его оторвать от важного государственного дела – обслуживал министерскую пьянь. Такси пришлось взять, вместе с Настей старуху несли буквально на руках, и водитель сидел как истукан, даже дверцу не открыл.

*«Только что посмотрел твою часть, ту, что ты мне переслала вчера, а мы так и не обсудили. Посмотри внимательно, киска, ну что ты ешь? Вот с этого места: "у них граница колебательного спектра сдвинута в высокочастотную сторону... поэтому безызлучательные переходы"... ну хорошо, положим, это очевидно, а вот откуда же следует, что индуцированные переходы должны возрасти, – совершенно непонятно. Это же надо показать. Тебе и мне, может быть, и ясно, а больше никому. Тебе что, доставляет удовольствие лишний раз объясняться с рецензентами? Вероятности и сечения сведи хотя бы в таблицу...»*

«Тьфу на вас!!!» – вслух произносит Тина, выключает компьютер, прижимает пальцы к горячим векам, долго сидит в темноте с закрытыми глазами.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЗНАКОМЫЙ ДО СЛЁЗ

«Знаком тебе этот город?» – спрашивают Александру встречающие, когда везут её по залитому солнцем Московскому проспекту мимо Технологического института, через Фонтанку, всё дальше и дальше – на Васильевский остров. – «Знаком, знаком», – отвечает Александра, вертит головой, жадно смотрит по сторонам и смеётся. – «До слёз?» – не отстают встречающие, заглядывают ей в лицо, ищут следы слез, тоже смеются. – «До слёз, конечно, до слёз, до чего же еще». Детские припухшие желёзки все вспоминают уже про себя, как же без них в этом городе: всё детство прошло с замотанным горлом – компрессы из керосина, клочковатая желтая вата.

«Через Дворцовый едем или через Шмидта? Он у нас теперь Благовещенский». – «Через Дворцовый, только через Дворцовый». Машина проносится над Невой, мчится по Университетской набережной, мимо Зоологического музея, мимо Университета и Меньшиковского дворца, к Академии художеств, огибает Соловьев-

ский садик и медленно въезжает в узкий переулок Репина (улица теперь Репина, улица), а потом в маленький дворик дома Шуберта. Приехали.

Александра щурится от солнца. Не такое уж яркое это зимнее солнце, скорее слабое и бледное, как будто его долго держали в темноте, в подземелье – и вот выпустили на пробную прогулку, и оно старается, льёт свой холодный свет. Александра оглядывает узкий, довольно чистенький знакомый дворик, отмечает свежее выкрашенный фасад: «О, да у вас был ремонт, как хорошо». Она еще не видела окраин, но подозревает, что там совсем не так, но здесь хорошо – старые камни, старые стены, центр Васильевского. Это там, на окраинах, в царстве облупленных пятиэтажек, правдивое солнце высветило ужасающую подснежную грязь: размокшие газетные обрывки, рваные полиэтиленовые пакеты, противные какашки, ни на что не похожую дрянь нищей жизни. «Посмотрите, как некрасиво мы живем», – должен закричать всякий нормальный человек, выйдя утром под лучи этого торжествующего солнца из своего плохого блочного дома. Но никто ничего такого не кричит. Ну, из тех, конечно, кто ездит в метро каждый день. А другие, которые на иномарках, и не живут в блочных домах. Эти ездки в метро молча и мрачно бегут ранним утром на работу, внимательно смотрят себе под ноги – можно вляпаться.

В те края поедет Александра обязательно, по делам, но не сейчас. А сейчас она входит в старую питерскую квартиру, в запах свежих пирогов, накрытых полотняными салфетками. На столе нарядная памятная скатерть, хрустальные бокалы отражаются в бабушкином зеркале – правда, старческие темные пятна разбежались по его серебряной глади, но это заметно, только если внимательно присматриваться, а вот хрусталь сияет как новенький. Торжественные тарелки с вензелями, выставившиеся в детстве лишь по великим праздникам, годами скучавшие в черве готического буфета, терпеливо ждут, когда затихнут восторги встречи. Тетка держится хорошо, никаких слёз, однако губы её заметно дрожат и руки тоже дрожат, поэтому суп разливают, снисходительно улыбаясь, молодая невестка (как она правильно называется по-русски, Александра забыла, ну, в общем, жена младшего внука).

Александра звонит своему другу, набирает почти не изменившийся номер, с удивлением чувствует странное волнение в груди, как говорили в детстве – «под ложечкой». Делает очень глубокий вдох, чтобы подавить неожиданное сердцебиение. Ждёт. После долгих длинных гудков отвечает надтреснутый, подчёркнуто вежливый голос, знакомый голос, если убрать старческое хрипение. Александра понимает – это его мать Марина Сергеевна, она очень любезна, диктует номер его мобильного.

Мобильнизация охватила родной город как ни один город мира: все разговаривают везде – в магазинах, в маршрутках, на улицах, в метро – не теряют ни минуты. Все болтают, свернув головы набок, прижимают к уху плоские маленькие коробочки изящных конструкций, жестикулируют, смеются кому-то отдаленному, нежно улыбаются невидимому, существующему где-то вдали, строго ему выговаривают – тому, кто не рядом; а тот, кто рядом, тоже говорит, говорит, говорит, безразлично оглядывая других говорящих. Александра рассматривает лица попутчиков в маршрутке, отмечает их молодость, чуждость, непривычность, прислушивается к разговорам – никто не стесняется, разговаривают громко: еще не насладились информационной цивилизацией, отмечает незнакомый выговор – ей кажется, это такой среднерусский, немного жлобский, резкий, народный говор, у мрачного эгучего брүнета напротив явный акцент, он говорит отрывисто – видимо, стесняется: когда коротко, не так заметен акцент, кроме того, иметь акцент опасно – в городе таких бьют и запросто убивают. Девушка у окна зачитывает кому-то результаты

балансового отчета, подбородком перелистывает листочки. Усталая женщина как раз говорит довольно тихо, прикрывает рот ладошкой: настаивает, чтобы ребенок обездразогрел, а не таскал холодные котлеты из кастрюли. Девчушка-школьница канючит в трубку: «Ну мам, ну ты вот всегда так, всегда я хуже всех, все же идет... ну ма-а-м...». Маршрутное такси останавливается на Невском проспекте. Надолго. Пробка. Девушка с балансовым отчетом вертится и шумно вздыхает – видимо, спешит куда-то. Наконец не выдерживает, решает, что пешком будет быстрее, вскакивает и просит водителя: «Молодой человек, вы не могли бы меня... возле светофора...?» Александра замирает и все пассажиры, кажется, тоже. Водитель, не моргнув глазом, быстро отвечает: «Девушка, вы что? – Я же на работе». Пассажиры корчатся и рыдают. Александра улыбается, однако отмечает совершенно правильное для немецкого языка построение фразы – просто здесь никто не стал дожидаться второго глагола.

Они сидят в испанском ресторане. Друг отключает мобильник.

«Ну вот, наконец-то, – говорит он своим прежним голосом (голоса не стареют, ну, почти не стареют, и на том спасибо), – как я рад, никто меня не ждет, я совершенно свободен, до завтрашнего утра, даже больше, часов до двенадцати – свободен как птица, будут искать – ни за что не найдут».

Вспоминают ни к селу ни к городу Витьку Чеснокова, жена которого подозревала, что он уикенд проводит с любовницей, а любовница смирялась с тем, что Витька в выходные должен пребывать в семье, сам же Витька пробирался в лабораторию и работал там в полном одиночестве, наслаждаясь прекрасной своей недоступностью и отсутствием наводок в воскресный день. А мобильных никаких не было.

Итак, он отключает мобильник и смотрит на Александру. И она смотрит на него. Острый укол любви-дружбы вонзается ей в сердце (о, какой затасканный образ, какая-то дурацкая игла, избитая метафора, но вот именно что пронзает это место в груди сладостная и короткая боль), и теплое слезное облако окутывает душу. Столько лет прошло – убийственные цифры, не будем подсчитывать. Боль совсем короткая, и вот уже эти непредставимые цифры надежной кольчугой окружают незащитный чувствительный орган (ну, пусть, пусть, назовём это так), и после всех охлаждений, предательств и разрывов, после всех острых, молодых, смешных и непоправимых страданий она счастлива видеть его и слышать его голос. И он – приятно ведь так думать – тоже рад, глаза его сияют из этих ужасных морщин так ласково, почти без иронии, и музыка играет так...

Приносят бутылку золотого вина. Разливает вышколенный мальчик. Высокие зеленые бокалы, витая ножка. Будем считать, что это венецианское стекло. И вот уже несут форель, запеченную в соли, каждому по огромной рыбине. Александра искренне ужасается. Съесть это не под силу нормальному человеку. «Ничего, ничего – мы сегодня никуда не торопимся», – говорит друг, ставит локти на стол, охватывает своё лицо ладонями, смотрит на Александру в упор немигающими глазами и улыбается. И так они сидят довольно долго, молча разглядывают друг друга.

Две девушки на маленьком служебном столике ловко освобождают форель от соляного панциря – по-видимому, так положено, чтобы посетитель видел конец технологического процесса. Одна девушка, видимо, более опытная, показывает другой, как это делается: в тонких пальчиках держит две вилки-лопаточки, поддевает толстый спекшийся слой соли, очень осторожно, чтобы не повредить розовую нежную рыбью мякоть, откидывает его в сторону. Вторая девушка очень внимательно наблюдает за операцией, кивает головой на поучающий шепот подруги, assisteрует старательно – лица у них чистенькие, вдумчивые, сосредоточенные, какие-то даже студенческие. Новая порода выросла, отмечает Александра, не

похожи они на прежних официанток. Длинное продолговатое блюдо с разноцветным ворохом трав ставит с испанской грациозностью на стол уже другой мальчик. Но вот эти танцы заканчиваются – они остаются одни в небольшом зальчике. В тени, почти невидимый – только локоть, только колено да лакированный носок изящного ботинка – сидит гитарист, начинает перебирать струны, очень тихо, ну да, она такая, испанская грусть – тихая, страстная, нарастающая, – демонстрирует чувство меры. В стену вмурован аквариум, из него льется желто-зеленый интимный свет, плавные рыбы медленно пересекают маленькое подводное царство, помахивают своими вуалями под испанскую музыку.

– Ну и сколько так может продолжаться?

– Не знаю, – честно отвечает друг, приближает к глазу бокал с вином, рассматривает через бокал рыб и водоросли.

– У меня вопрос (это калыка с немецкого, так начинает почти каждую фразу маленький любознательный внук Александры – он живёт в Германии; она спохватывается, отмечает про себя, что раньше никогда сама так не говорила), ты не напомнишь мне, сколько тебе лет?

– Да ладно тебе. Ты же только что сказала, что возраст – понятие биологическое, а потому условное.

– Но не до такой же степени. Это в сорок лет оно условное, пока мы еще ничего себе. И кажется, что так будет вечно.

– А мы и сейчас – ничего себе. Ты, во всяком случае.

– Грубая, немотивированная лесть на меня не действует. Учти... Если ты тогда не ушел от Тины ...

Они понимают, что значит это «тогда», не надо уточнять. Когда Тина, из воздуха уловив рецидив их романа, начало их настоящего, взрослого романа, в последний раз использовала тот же прием. Такой простой. Казалось, ничто уже не может их особенно испугать и заставить отказаться от желания быть вместе. И он пришел и сказал: «Я все равно хочу быть с тобой. Мы будем жить счастливо и умрем в один день». Да, вот его не испугало. Что же так сильно удручило Александру? Смешно – ведь не решение Тины родить второго ребенка. А что тогда? Воображение, неужели просто собственное воображение? Что оно такое необыкновенное нарисовало тебе, глупое ты создание? Ну, наверное, житейские картинки, семейные сценки, которые происходили там, у них, в этом доме у Таврического сада, где он пока еще жил. А ей казалось, что уже не должны происходить, потому что он уверял, что ни одной женщины не может коснуться, – «ты, только ты...». Да, вот именно, замкнула слух, просто сбежала, как у неё повелось, в свою одинокую непробиваемую раковину, закрыла створки, лишь терпеливый муж и семилетняя дочь устроились у входа и потихоньку проникли в её уединение, то есть выманили на уютную площадочку обыденной жизни: на родительские собрания, на ремонт кухни, на покупку стиральной машины, на дни рождения скучных родственников, на всё такое необязательное, неинтересное, как у всех; не сразу, конечно, но постепенно выманили и утешили этой целительной скукой. Терпеливый муж до сих пор, пожалуй, ждет звонка. Да, он теперь муж прекрасной женщины, с какой стати он будет ждать, давно удалил Александру из своей жизни, вычеркнул, так обычно говорят, но ей почему-то неловко: подозревает она, что все-таки ждет, бывшие мужа – это все-таки родственники, тем более дочь, а она вот сначала звонит другу, а они – бывший муж и его прекрасная добрая женщина, которой рядом с ним почему-то совсем не скучно, и она заботится о нем и лелеет его, такого честного, спокойного, обыкновенного, тихого и благородного, – вот они скоро узнают, что она уже здесь, уже приехала, но еще не позвонила, – и будут обижаться.



– Если ты тогда не ушел, то теперь, когда на ней весь дом, и твоя мать и твои внуки, то... Ну, я уж не знаю...

Друг делает такой знакомый жест – полное разведение рук, дурашливое закатывание глаз – и понуро молчит; Александре тоже следует помолчать, но она почему-то впадает в нравоучительство.

– Вот к чему приводит желание вечной молодости. Думал, наверное, будут шептать за спиной: «Представляете, у него дети моложе его собственных внуков. Какой, однако, молодец». Думал, признавайся? Ты же показушник. Неисправимый.

– Да при чем здесь я? Разве можно запретить женщине хотеть ребенка. Женщина всегда решает. Как ты только можешь? Так говорить?.. Показушник!?

– Ничего себе – он ни при чём. Но ребенок ведь твой?

– А чей же еще.

Обстоятельства жизни друга таковы: женщина сорока с лишним лет, связь с которой длилась с её аспирантских времен, год назад родила ему новую дочку. Девочка очень слабенькая, и его помощь необходима. В голосе немолодого отца слышится оправдание. И так всё ясно: что-то еще связывает его с бывшей аспиранткой. Четыре дня в неделю он неотлучно пребывает в старой семье – там живет его мать, его жена Тина и его дочь Анастасия с двумя его внуками пятнадцати и пяти лет. Настю три года назад покинул муж, процветающий ныне на кисельных берегах Силиконовой долины, и она переехала к родителям: трудно одинокой работающей женщине с двумя детьми прожить одной. Где живет сын Андрей, не очень понятно, кажется, в какой-то мастерской – на расспросы Александры друг вздыхает, недовольно морщится, машет рукой: «отрезанный ломоть». Потом с некоторой даже гордостью добавляет: «Он у нас известный художник подземелья, ну этого... андеграунда, блин, мастер российского хеппенинга».

Три раза в неделю друг хлопочет над новым ребеночком: кормит, гуляет, купает, меняет памперсы, а уложив малышку спать, они обсуждают что-нибудь научное. Иногда и ночевать остается, изображая для старой семьи командировку, звонит жене по мобильнику, не забывая его тут же отключить. Командировку придумывает местную, в какой-нибудь филиал. Когда идет в старую семью, по дороге, на улице или уже на лестнице, звонит в новую, обсуждение совместного научного продукта продолжается уже в квартире, по компьютеру (отец семейства занят, благопристойно сидит в кабинете за компьютером, никто не смеет мешать), иногда и несколько слов напишет матери новенького ребенка, несколько ненаучных слов, несколько слов поддержки или просто житейских, бытовых.

– У Андрея, кстати, тоже где-то растет девочка. Кажется...

– Что значит «кажется»? Как это можно, ты что, даже точно не знаешь, родилась у тебя внучка или нет? Он женат?

– Да они же теперь не женятся. Бой-френды или гёрл-френды... их теперь родителям не представляют.

– В наше время тоже не так уж часто представляли. Даже свадьбы не очень справляли. Ты вспомни...

– Но все-таки женились, а свадьбы не справляли по бедности.

– Не только. Считалось, что всякие ритуалы – это немножко безвкусно. Значит, у Андрея ребенок, значит, не так всё плохо...

Александра не рискует углубляться в расспросы об Андрее: понимает, что это, может быть, самое болезненное в жизни Павла.

– Да нет, конечно, я знаю, Настя её видела, хорошая симпатичная девчонка, здоровенькая, на Андрея похожа. Большая уже. Там с ней теща-френд сидит – от нас ничего не требуют, такие гордые. Ну, и мы не проявляемся, раз не зовут. Эта дама-галерейщица старше Андрея, страшно сказать, насколько. Так что, сама понимаешь, Тина не очень довольна.

Александра не позволяет себе заметить, что у Тины, по-видимому, много поводов не быть довольной. Вертит в руках хрустальный бокал. Да уж, лучше помалкивать. Водит указательным пальцем по тонкому краю бокала. Хрусталь высоко и чисто поёт.

– Прекрати, пожалуйста, – морщится друг, – ты тоже неисправима, всё те же дурные привычки. Знаешь ведь, что я не выношу этот звук.

Мимо пробегает официант, юный и услужливый, несёт поднос к соседнему столику, успевает любопытно взглянуть в их сторону, улыбается. Испанские аккорды едва слышно рокочут, взрываются краткой страстью и снова тихо грустят, перебивают себя, перебирают воспоминания и почти смолкают.

– Очень много девочек рождается, – задумчиво говорит друг, – одни женщины почему-то вокруг. Я уже, кажется, отвык от маленьких мальчиков.

– Может быть, это хорошо. Мальчишки рождаются к войне.

– Нет, мальчишки рождаются после войны. Природа восполняет потерянный баланс в популяции. Кажется, так.

Он видит по глазам, что Александра собирается что-то сказать. Что-то неутешительное, может быть, как ему кажется, что-то безжалостное и шутовское, на грани дружеского цинизма, предостерегающе прижимает ладонь к сердцу, пытается остановить порыв подруги нахмуренной гримасой. Но её намерения вполне банальны.

– Знаешь что, я хочу выпить за твоё здоровье.

«Почему за моё...» – начинает он вопрос и вдруг понимает Александру, и быстрый страх мелькает в его безответственных глазах. Александра знает про его прошлогодний инфаркт. Тина почему-то сочла нужным сообщить ей в Германию. Но вот он уже собрался, стряхнул грустные мысли, смеется, подзывает пригожего тоненького мальчика и заказывает еще красного вина. «О, моя завтрашняя голова, – сокрушается Александра, – день будет потерян, потерян». – «А я хочу выпить, – он повторяет свои любимые слова, – за долгую взаимную любовь, которая возможна только в дружбе». Она смотрит на него внимательно – он что, действительно считает всё, что было, дружбой? Взгляда её он не понимает, не чувствует, тянет потихоньку кровавое вино, ненадолго уходит в себя и тут же возвращается с извиняющейся улыбкой.

Невидимый гитарист усиливает испанскую грусть, и она перетекает незаметно в обыкновенное русское рыданье.

– А как Тина? Она знает? Ну, я имею в виду не про внуку... про внуку уж Настя-то рассказала. А про твою новую девочку? Как, ты сказал, её зовут?

– Таточка её зовут. Танечка. А с Тиной мы на эту тему не разговариваем.

– Как это у вас получается?

– А вот так...

Александр хотел бы повидать Настю, ну и Тину, пожалуй, тоже. Всё быльём поросло, ничего не осталось, даже печали – лишь одно слабое любопытство шевелится на дне шкатулки с воспоминаниями.

– Почему ты меня в гости-то не приглашаешь? Мог бы все-таки и пригласить. Чай, не чужие мы люди. Приглашай, пока у меня заграничные подарки не кончились. Или мне будут не рады? Настя всё такая же красотка?

При имени Насти лицо Павла светлеет: первый любимый ребенок, первый ребенок в компании, а может быть, и на курсе. У всех еще пылали романы и страдания, а у Павла была уже полная определенность, Тина переехала в большую академическую квартиру – все так и ахнули, – приходила на факультет с растущим пюзом, гордая, неуклюжая, сдавала досрочно какие-то зачеты – впрочем, ей ставили моментально, снисходительно и дружелюбно улыбался даже неумолимый, жестокий математик.

«Ловко она его, ловко, – поджимали губки девчонки из общежития, – а ведь ни кожи ни рожи – разве что волосы». Ну, рожа, допустим, была вполне привлека-

тельная – если приглядеться, конечно. Бледная, нежная, без всякой косметики. А волосы действительно необыкновенные: при нездоровой малокровной бледности – пышные, густые, сияющие, но не рыжие, а золотого теплого цвета.

Многим Тина казалась типичной провинциалкой, тем более жила она в общежитии, на Детской, – только потом с изумлением узнавали, что она родилась в Ленинграде и закончила обычную ленинградскую школу, с какой-то даже медалью, а в общежитии обитала в связи с семейными проблемами. Что-то там у неё в семье происходило. В чем проявлялась эта провинциальность, никто не мог бы объяснить. Может быть, это была такая зажатость, отсутствие столичной раскованности, или просто особое выражение лица – всегда готова отразить нападение, всегда подозревает покушение на отвоеванное с невероятными усилиями желанное место, всегда готова к отпору и защите своей территории и даже к превентивному удару. Однако учиться ей было трудно, школьная медаль здесь не помогала. Казалось даже, что ей не нравится учиться, но она держалась стойко, и было понятно: будет держаться до последнего. И держалась. И заслужила у многих уважение. А главное – лекции она записывала добросовестным ясным почерком, за её конспектами в сессию выстраивалась длинная очередь заискивающих лентяев. Как-то и Александре перепала на одну только ночь её пухлая аккуратная тетрадка по статистической физике, и стало понятно, что старательная рука списывала с доски безумные формулы и сопровождала их нелепыми ремарками при полном отключении головы.

– Ну что за глупости, конечно, они будут рады, – быстро говорит Павел, отводит глаза и смотрит куда-то в сторону... – а Настя, да, она красотка, конечно, но что-то не получается у неё в личной жизни...

И по этой его торопливости, по отведению глаз Александра понимает, что не очень-то ему нравится её идея. Не хочет он, чтобы она повидалась с Тиной. Что-то его пугает. Или не пугает, а просто не хочет выпускать Александру из своего лагеря.

– Только не удивляйся: у мамы бывают разные видения, но память сохранилась. Она тебя прекрасно помнит. Она будет рада. Она тебя раньше часто вспоминала. Ты почему, кстати, не призналась, когда звонила: поболтала бы со старушкой, уважила бы. Конечно, надо придумать... только вот когда... обязательно мы это устроим.

– Но если тебе неприятно...

– Глупости какие. Почему мне должно быть неприятно?

– Ну, я же вижу.

– Да ничего подобного. Что ты там можешь видеть. Просто квартира в ужасном состоянии – мне будет стыдно, а кроме того, они у меня постоянно ссорятся – все время искрит, такое вечное штормовое предупреждение, молнии летают. Они же меня на части рвут, каждая выливает ушат претензий. Между прочим, как раз Тину я упрекнуть не могу – она пытается всех примирить, плохо получается, к сожалению, представь: пять женщин вместе. Друг у друга на голове. Ну и на моей, конечно...

– Да, похоже, на твоей голове уже семь женщин.

– Ирония неуместна.

– Да вряд ли я к ним выберусь. Очень мало времени у меня, а дел столько... Ох, и паспорт надо сделать, и на кладбище памятник, и много-много всего...

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЖИЗНЬ ВНЕ ДОМА

А все-таки хотелось бы зайти в этот дом у Таврического сада, в эту квартиру, поразившую когда-то барской беззаботностью, достатком, вкусной едой, кухаркой, хлопочущей на кухне, зеркалом во всю стену в ванной, книжными полками, уходя-

щами в шестиметровую высоту, а главное – своей прекрасной отдельностью. Почти все тогда жили еще в коммунальных квартирах. И Александра жила в коммунальной, с очередью в уборную по утрам, с единственной ржавой раковиной и вечно капающим краном на кухне, с изнурительными недельными дежурствами, с велосипедами соседей над головой (не раз и обрывались) в узком и темном коридоре, с торопливыми завтраками в общей кухне под уродливым чьим-то бельишком. Через всю кухню тянулись бельевые веревки, и тянулись и не кончались непрерывные распри и споры: можно ли стирать в кухне, можно ли кипятить бельё и сушить его над газовой плитой, «телефон общий, общий, вы не одни тут живёте», «вы вот за гостями своими подотрите, а потом уж замечания моим детям делайте». Скучно, противно, неинтересно. Александра просто закрывала уши ладонями, когда шум склоки особенно нарастал и ей случалось оказаться дома. Со всем не раздражалась, закрывала уши и легко погружалась в книгу. А вообще она не очень и замечала эти неудобства, не особенно тяготилась коммунальными несправедливостями, не вникала в остервенелые крики соседей, не утешала обиженную бабушку: «разбирайтесь сами», убегала на весь день в университет. Лекции, семинары, потом обед в веселой компании, в «восьмерке» или «академичке». В голодные дни перед стипендией пользовались беззастенчиво замечательным правилом «гарнир без ограничения». Такое объявление висело в столовой. А на столах стояли тарелки с бесплатным хлебом и бесплатной капустой, «ростки коммунизма» называлась эта капуста. Так что прожить можно было некоторое время вообще без денег. «Галочка, ангел мой, нам, пожалуйста, картошечки без ограничений», – включал Юрка свою самую обаятельную и наглую улыбку. И раскрасневшаяся от кухонного жара девушка Галочка, добрая ангельская душа в белом марлевом тюрбане, с понимающим подмигиванием протягивала ему одну за другой полные тарелки чудной картошки, поджаренной на сливочном масле, – это было специальное, «сливочное», отделение в демократичной «восьмерке». После обеда честно сидели в библиотеке до вечера. Некоторые даже освоили технику освежающего пятиминутного сна на раскрытых учебниках и конспектах.

Жизнь проходила вне дома, на просторах волшебного города. И считалось, что это нормально. *Как ель и рябина растут у порога, росли у порога Растрелли и Росси...* За порогом и был огромный дом. Можно было прийти в Эрмитаж, сесть на банкетку красного бархата у высокого окна, оборотиться лицом к державной реке и сколь угодно долго смотреть на эту вечную воду, на тонкий шпиль за рекой и черный буксир, проплывающий мимо, посередине реки, – на этот раз совсем бесшумно. А потом отвернуться от окна и, прищурив глаза, посмотреть на колонны, на картины, на прекрасные статуи, на мраморную золотую лестницу и представить, что это всё принадлежит тебе. Вот твой дом.

Дома за ужином отец откладывал газету, мрачно смотрел поверх очков, упрекал, что шляется где-то, не помогает матери. «Оставь её», – говорила мать. Александра молча ковыряла холодную котлету, вполуха слушала бабушку о деталях битвы за столик у окна. Столик у окна в кухне – очень удобно, между оконными рамами можно устроить холодильник: настоящих холодильников ни у кого из знакомых тогда еще не было. Бабушка сражение выиграла, очень гордилась: «Почему это мы всегда должны уступать».

Квартира на улице Чайковского существовала отдельно от всего этого коммунального мира. Там был совсем другой мир. И холодильник у них был. Как же он назывался? «ЗИС», что ли? Или «Бирюса»... нет, этот был уже потом. А сначала – точно «ЗИС». Завод имени Сталина. Неужели? Или все-таки ЗИЛ, имени Лихачёва? Какой-то Лихачёв, никто уже не помнит, разве что специалисты древнего машиностроения. Надо у кого-нибудь спросить, хотя и не особенно интересно. Вот

Лихачёва Дмитрия Сергеевича еще мы помним. Но, возможно, только мы и помним. Как быстро всё забывается.

Перед экзаменами вся компания собиралась в доме у Таврического, в комнате Павла. Устраивали «прогон», пробегали по всей программе, по всем билетам, вместе разбирали что-нибудь особо трудное – сама собой образовалась такая традиция. Кто-то демонстрировал изобретательно выполненные «шпоры» – собственно, это были не шпаргалки, а виртуозные мнемонические конструкции, в процессе создания которых исполнитель легко и надолго постигал суть предмета. Ученье доставляло им удовольствие, а некоторые страдали настоящей одержимостью (слова «трудоголик» тогда еще не знали, употребляли его только нарождающиеся психологи). Мать Павла как-то со смехом рассказала Александре: «Сашенька, вы знаете, он думает, что я ничего не замечаю: вместо того чтобы учить историю КПСС, ведь экзамен на носу, он держит в ящике стола лекции Фейнмана и потихоньку читает, а когда я вхожу, ящик быстро задвигает – ну не ребенок ли?»

У девочек никакой одержимости науками, конечно, не было. У Тины проглядывало даже тщательно скрываемое отвращение, Александра поддерживала в себе сознательность, чувство долга и удовольствие от хорошего выполнения этого долга, маленькая сообразительная Лия загоралась вместе с мальчиками, но ненадолго, во всяком случае, никто из подружек не испытывал наркотическую радость, сиявшую в глазах молодых тщеславцев, каждый из которых время от времени произносил пренебрежительно что-нибудь вроде: «Зачем девочки идут на физический... не понимаю». Уже и тогда Александра могла им ответить, что из соображений «гигиенических», как говорила её тетка, вечно дрожавшая на своём филфаке перед очередным конкурсом («завалят, как пить дать, завалят»). Но мальчики не смогли бы этого понять: грозное значение слова «идеология» еще не очень ими осознавалось, особенно в их среде, в среде их профессорствующих родителей на кафедрах точных наук. Да и через двадцать лет у них был другой вариант ответа. На упрек Тины, зачем так упорно Павел тащит на физический упирающуюся дочь, он весело отвечал: «А мужа найти... где еще можно хорошего мужа найти? Ты вот себе нашла...». Была, правда, среди них Машка Куркова по прозвищу «Марыся Кюри», о страшной жизни своей она сама со смехом рассказывала, по-видимому, не находя её особенно страшной. Жестокий отец (он, кстати, читал у них спектральный анализ) проверял её школьные тетради поздно вечером, когда бывало, маленькая Машка уже спала, и если этот тиран обнаруживал в тетрадках что-то его не устраивающее – небрежно выполненное задание или неверно решенную задачу, срывал с ребенка одеяло и заставлял переписывать, приговаривая: «Я научу тебя работать». И девочка, заливаясь слезами, в ночной пижамке, садилась за стол и, стараясь не закапать слезами страницу, аккуратнейшим образом что-то там переписывала, переделывала, и вот – научилась работать. «А мать? Где была мать при этом?» – интересовались ужаснувшиеся слушатели. «А мама у нас была певицей, спектакли ведь поздно кончаются», – с гордостью отвечала Машка и хохотала. И невозможно было понять, что она придумывает, а что происходило на самом деле, во всяком случае, строгий отец научил её не только работать, но и любить эту мужскую науку, а преуспевать она научилась сама, еще и лучше, чем отец, так до смерти и прослуживший угрюмым доцентом с ненаписанной докторской, без учеников (такой характер), без жены, но зато с Машкой. Мама почему-то не вернулась с московских гастролей. То есть вернулась, чтобы сорвать вещи, а потом переехала в Москву навсегда.

К концу прогона мать Павла несколько раз деликатно заглядывала в комнату, звала обедать. «Ну мам... ну мы еще не хотим». – «Хотим, хотим», – кричали глаза Сергея и Юрки Костерина, девочки потупляли взоры, но все терпели: знали, что

через некоторое время Марина Сергеевна взорвется, ворвется в комнату, потащит за руку кого-нибудь: «Ну сколько можно звать, здесь всякое терпение с вами лопнет, Паня уже час вас ждет». Громкую и дерзкую кухарку Паню в доме боялись раздражать, боялись: а вдруг выполнит свою угрозу, снимет передник, бросит его на пол и уйдет от них навсегда. Бывало, что и уходила, и Марина Сергеевна ехала за ней с Витебского вокзала в деревню Купчино – тогда еще была такая деревня – и униженно умоляла вернуться. И Паня возвращалась, надевала свой передник, но подарки никакие еще долго не принимала. «Ишь что удумали, подкупить хотите: не-е-е-т, не купите, мы хоть и купчинские, а не продажные, сердце у меня слабое – вот вас, непутевых, и жалею».

Пока девочки мыли руки в зеркальной ванной, из кухни доносились восхитительные запахи и ворчание Пани: «Таку ораву кажну неделю кормить... не знаю уж, дело хозяйское, конечно»... – «Паня!» – «А чё Паня, неча мне рот затыкать, это ж никаких средств не хватит»... – «Па-а-ня-а!!!»

В столовой все рассаживались за длинным обеденным столом, за которым у каждого образовалось своё привычное место. На столе всегда была свежая белая скатерть, расшитая белыми же цветами, и однажды Александра заметила, как Тина, приоткрыв рот, нежно ощупывает, гладит эти белые выпуклые цветы, а глаза её при этом задумчиво рассматривают синюю люстру над столом. «Закрой рот», – толкнула её в бок Александра. Тина испуганно вздрогнула, спохватилась, стряхнула задумчивость, зажмурила глаза, как если бы действительно Александра обладала способностью по глазам узнать её мечты и мысли – впрочем, может быть, обладала, – и открыла уже спокойные глаза, глянула зло, прошипела: «Сама закрой».

Добрая скандалистка Паня ставила в центр стола пузатую супницу (дома у Александры, в громоздком буфете, тоже хранилась такая, но ею почти никогда не пользовались), щедро наливали каждому в глубокую синюю тарелку три огромных поварешки («Поварешка точно серябряная», – шепотом комментировала Тина.) фантастических, ароматных щей, и в столовой наступала возвышенная тишина. Чуть-чуть нарушалась эта тишина легким поскрипыванием старинных стульев, осторожными прикосновениями тяжелых ложек ко дну тарелок, благостным дыханием сосредоточенных едоков, напряженно державших в уме основные правила застольного этикета. Никаких локтей на столе: к телу прижаты локти, салфетки развернуты и лежат на коленях, губы сжаты, челюсти двигаются ритмично, едят бесшумно, да-да, по возможности беззвучно, медленно, неспешно.

Юрка Костерин в перерыве между парами выхватил у Тины из открытой папки тоненькую книжницу «Как вести себя за столом», бегал с ней от Тины, скакал по скамейкам, как обезьяна, забрался на самый верх, читал с выражением: «Завершая прием пищи, полотняной салфеткой можно коснуться губ и вытереть концы пальцев». Кто-то, смеясь, поправил: «Кончики». – «Это у тебя, балда, кончик, а у благовоспитанных людей – концы». – «Концы? Полотняной салфеткой?» – недоверчиво переспрашивал другой. В общем хохоте, потеряв надежду догнать Юрку, Тина сидела со злыми слезами на глазах и беспомощно повторяла: «Подонки, скотина». «Ешьте неторопливо, – продолжал Юрка, – не вычищайте дно тарелки кусочком хлеба». Александра вскочила, сделала попытку вырвать книжку – обрывок разорванной страницы плавно закружился в воздухе. «Горячие закуски из кокотниц или кокильниц едят кокотной вилкой». Юрка недоуменно выпучивал глаза: «Валюшка, спроси у матери: ей положено знать, что это за кокотная вилка такая, – неровен час оплошаешь за столом у Пашки». Мать Тины когда-то была официанткой в настоящем ресторане, потом долго работала в университетской столовой (кочотных вилок там не было, вилки были одного алюминиевого сорта, гнутые, липкие), а когда появились кофейные аппараты, перешла в кафетерий, который открылся под «восьмеркой». Мать Тины ловко орудовала рычагами новенькой сверкающей машины, варила им отличный «двойной», всегда улыбалась. Кто-то рассказал мно-

го лет спустя, что отработанный кофе, эти мокрые ошметки, она не выбрасывала, – собирала аккуратно и в большой сумке уносила домой, сушила и приносила обратно, подмешивала к хорошему, только что смолотому, по второму разу пропускала через кофейный аппарат. Крутилась женщина как могла. Вот поэтому Тина носила не суконные ботики, не рыжие «румынки» из грубой свиной кожи, а настоящие финские сапожки, и лифчики у неё были немецкие, причем на каждый день – девчонки подсмотрели. Кроме того, торговые связи и знакомства, как тогда говорили, в колбасных кругах. А в общежитии Тина жила из-за отчима, хотя для имеющих ленинградскую прописку это было категорически запрещено, но мать кинулась в ноги проректору – он часто обедал в преподавательском зале, выпросила, вымолила. Тина никогда не рассказывала о своей семье, но откуда-то всё становилось известно. Приставания молодого отчима, впрочем, особой тайной не были: он и в общежитие к ней заходил, с жалкими подношениями вваливался в комнату. Девчонки с криком, в шесть рук, вытаскивали его, но он не уходил – стоял на лестнице, ждал Тину, покачивался, потом садился на ступеньку и бывало, что и засыпал тут же, привалившись к стене. Комендант даже однажды вызвал милицию и приказал вахтершам быть внимательнее и больше никогда его не пускать. Тине почему-то никто не сочувствовал. Какая-то она была не такая, не приживалась ни в общежитии, ни в компании.

В доме у Павла было принято за обедом на хлеб намазывать масло, замечательное сливочное масло, которое Паня привозила из деревни. Когда Александра вздумала повторить дома этот буржуйский обычай, отец посмотрел на неё строго и поднял брови и даже бабушка разделила это осуждение. Хлеб с маслом – это была отдельная еда. Не зря говорили: «На хлеб с маслом он зарабатывает», а если хотели подчеркнуть высшую стадию успеха, то упоминали и про икорку сверху как предел мечтаний. Впрочем, на икорку отец не зарабатывал, о чем и предупреждал: «И не ждите, и не рассчитывайте». Но хлеб с маслом за обедом – это уж непозволительное баловство, «где ты только этого нахваталась».

Никогда и нигде Александре уже не встречалось такое масло, как за обедом у Павла, и вкус деревенского масла она запомнила на всю жизнь. «Берите масло», – уговаривала Паня, указывая на синюю старинную масленку, а Павлу сама пыталась намазывать и подкладывать ломти потолще. Да и хлеб у них был особенный. «Паня, прекрати, я сам», – сердился Павел. – «Да уж такой тошший... ешь давай...» «Па-аня!?» – поднимала брови Марина Сергеевна, и Паня, надувшись, выплывала из столовой.

Было заметно, что между Паней и тихой горбатенькой няней, тенью скользившей вдоль стен, шла непрерывная и страстная борьба за Павла. Няня, выростившая еще Марину Сергеевну, не допускала и мысли отдать своё первенство «этой деревенщине», а Паня, на которой держался дом, ни в грош не ставила «никуда негодную хлипкую приживалку». Когда бы Павел ни явился домой, двери ему всегда открывала «нянечка» – сидела в своей каморке, ждала, в окошко поглядывала. Он обязательно её целовал – так уж повелось у них; няня снимала с него пальто, привстав на цыпочки, разматывала шарф, норовила и ботинки стянуть, если бы позволил. Паня при этом никогда не выходила в прихожую: гремела сковородками и фыркала в кухне – нож острый были ей эти поцелуи.

Отец Павла, высокий красавец, седой, вальяжный, насмешливый, веселый – понятно, что покоритель сердец, – заведовал кафедрой и читал общую физику, но в Политехническом. Если он был дома и свободен от многочисленных аспирантов и задыхающихся от восхищения аспиранток, почему-то считал себя обязанным внедряться в их «прогоны», объяснять, растолковывать, желая помочь от чистого сердца, окончательно сбивал их с толку, отвлекал смешными историями, а времени-то до экзамена оставалось совсем немного. Все ёрзали, вежливо слушали,

кивали головами, покусывали карандашики, изображали внимание. Павел с трудом скрывал раздражение, иногда резко обрывал отца, которого это несколько не обижало, — такая порода: несокрушимая добродушная уверенность в себе, — и он уходил очень довольный: долг выполнен, дети не оставлены без внимания.

Дед Павла, академик, которому в придачу к Государственной премии дали эти просторные хоромы за особые заслуги, за создание какого-то секретного топлива для каких-то секретных двигателей — Александра так и не удосужилась узнать, за что именно, — был тогда еще жив, но уже витал над земными делами, хотя еще числился консультантом в своем институте, и несколько раз в месяц его почтительно возила казенная «Волга» на защиты диссертаций в другие институты — он был членом разнообразных ученых советов и всегда голосовал правильно, то есть, черных шаров не бросал. На него рассчитывали. А если его голос мог только помешать уничтожению какого-нибудь строптивца, то «Волгу» не присылали, и он оставался в квартире, в своём дальнем кабинете, откуда неслись слабые звуки рояля. У него там рояль стоял. В своё время он ушел в университет со второго курса консерватории, а говорят, подавал надежды — музыкальные. Когда музыка смолкала, он шаркал мимо комнаты Павла в туалет и обратно. Довольно часто. Павел морщился. Когда дед умер — умер во сне, в возрасте девяноста трех лет — «счастливый», говорили на панихиде, — рояль стали всем предлагать. Никто не брал.

И еще у них была дача, трехэтажный дом с верандами, мезонином и маленькой многоугольной башенкой наверху. Старый финский дом. Только перейти шоссе — и начинался песок, валуны, острая трава и мелкая вода бледного залива. Праздники, каникулы, преступные побеги из города, первые нелепые пьянки, тайные свидания — все было в этом доме, и те самые четыре дня... ха, незабываемые... да нет — забываемые, забытые, — улыбается своим мыслям Александра, — после этого было много других дней, и они прошли в точности как обещала надпись на кольце, и память отмечает их спокойно, без волнения — просто отмечает, что был восторг. Память помнит, а сердце забыло совершенно: как это — чувствовать восторг. Где теперь этот дом, можно ли на него взглянуть, где теперь высокие финские сани — стульчик из деревянных отполированных реечек на длинных полозьях. Павел разгонялся, отталкивался ногой, наклонялся, целовал её в ухо. А-а-а-а — и сани неслись вниз, вибрируя и дрожа, пальцы вцеплялись в сиденье. Быстро доезжали до самого Зеленогорска (старики всегда говорили — Терриоки). Как же назывался этот ресторан? Вваливались разгоряченные, стряхивали снег, хохотали. А где наши старинные лыжи, уродливые «дрова», а кривоватые бамбуковые палки... выбросили, должно быть, давно...

— Сгорели они, всё сгорело, — машет рукой Павел и вздыхает.

— А, понимаю, конечно, вы сожгли при очередной уборке... территории.

— Какая там уборка. Просто дом сгорел. Сгорело наше поместье. Подождли — и сгорело. Мы продавать не хотели — ну, они и подождли. Обычное дело. Теперь ходят, звонят, уговаривают продать. Но за другую, конечно, цену. Предупреждали, однако.

— Да как же так? Как жалко-то. Такой прекрасный финский дом. Как же это может быть? Значит, они и подождли. Так надо же... Нет, я не понимаю, если вы знаете, кто поджег, расследование-то существует у вас... Надо заявить. В суд, что ли?

— Да ты что? Вот именно, что ты ничего не понимаешь. Ты нашей жизни не знаешь. Это нельзя. Хорошо хоть страховку какую-то жалкую получили. А в суд подавать... ни страховки не было бы — вообще ничего, еще бы дрянь какую-нибудь схлопотали бы. Были звонки, были. Кажется, даже те же самые голоса. Одна надеж-



да – не им, а другим продать, кто посильнее их будет. Все-таки место такое – замечательное, берег залива, от города близко. Они там друг с другом разберутся. Кто больше даст.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ. ИНИЦИАЦИЯ

Когда камера наружного наблюдения остановилась и откуда-то сверху раздался приветственный механический голос: «Добро пожаловать. Сейчас вас встретят. Оставайтесь на месте», – Александра вдруг почему-то вспомнила предупреждение отца держать ухо востро с иногородними. Посмотрел бы отец, какой теперь у Юрия Сергеевича дом. У иногороднего Юрки, у подкидыша из Тайшета, привыкшего работать так, как никто из них не умел. «Победу или умру», – говорил и скрежетал зубами, и ведь побеждал. Говорили, что мать его на крыльце Дома ребенка оставила, а сама исчезла. Вот откуда это – «подкидыш из Тайшета». Только потом Юрка объяснил: оставила, чтобы спасти, – её на работу с маленьким ребенком никто не брал, тем более она была жена врага народа, они просто от голода погибали, и никогда её Юрка не осуждал. Про подкидыша пустил слух его безымянный дружок, которого после первого семестра выгнали за пьянство, а слух остался и почему-то повторялся, особенно яростно, когда Юрка сам (сам!) отказался перейти в теоретики. Его упрашивали, этого провинциального задаваку, а он отказался. Не особенно и понадобилась ему ленинградская прописка – его и так в аспирантуре оставили, а потом как-то всё само собой получилось. Ленинградские девочки быстро сообразили, какие перспективы ожидают гордого подкидыша: отталкивая друг друга, протягивали свои сердца. Так что он мог придиричиво выбирать. К полной неожиданности для всех выбрал Светку-стерву – это сейчас мода на стерв появилась, а тогда нет, тогда другие девушки были в моде – умные, веселые, простые – надежные «фронтные подружки», скалолазки всякие или слаломистки. А Светка и её подруга Лерка Ростовская были другие – вызывающие, высокомерные, с ухоженными ручками, с подведенными цепкими глазками, с особой осанкой красавиц. А красавицами их, между прочим, многие и не считали, а вот осанка была, так что эти многие от других, более утонченных, слышали: «Да что вы понимаете, темные вы люди?» И были они высоченными, длинноногими – первые тяжелые и грациозные ласточки акселерации, – и никогда не разлучались. Прозвище у них было Ростральные колонны. Каким ветром их занесло на физический факультет – не очень ясно, может быть, тем же самым вечным ветром поиска, что заставлял тренированных скалолазков прикидываться верными «фронтными подружками», пока надобность в притворстве, а также в скалолазании, не исчезала в связи с изменившейся модой или новыми обстоятельствами. Почему Юрка выбрал Светку, а не Леру, друзья и подружки объясняли по-разному. Сам Юрка загадочно улыбался: «Эксперимент, брак по расчету. Время покажет, правильный ли был расчет». «О какой цинизм!» – вскрикивали отвергнутые ленинградские девушки (изображали на лицах: не больно-то хотелось). Но однажды на общих посиделках Павел неприятным оценивающим взглядом уставился на Александру и не без ехидства заметил: «А ведь Светка чем-то на тебя похожа». Легкое замешательство промелькнуло в Юркиных глазах, но лишь на секунду, на долю секунды – и пропало, поднёс кулак к Пашкиному лицу: «В глаз получишь...».

И диссертацию раньше всех защитил Юрка – уложился в три года, невиданное дело. Даже руководитель уговаривал потянуть: несолидно в двадцать шесть лет защищаться экспериментатору, это могут позволить себе только математики или отдельные физики-теоретики, да и то редко. Руководитель у него был строгий, замкнутый, никогда не улыбался, даже на защите, когда влиятельные зубры согласно закивали головами, переглядываясь, зашептали: «Несомненно это докторская», – сделал сдержанно-удовлетворенное лицо, а в заключительном слове заметил:

«Ну... мы не оцениваем так высоко наши результаты, однако...». После голосования к сияющему Юрке доковылял на двух коротких костыликах задыхающийся Завадский и прошамкал, трясая большой головой: «Я вот что хочу вам сказать... Послушайся старика, молодой человек: надо переоформить и подавать на докторскую». – «Спасибо за добрые слова, но мне легче через два года докторскую написать, у меня уж много нового наработано», – довольно нагло заявил Юрка. Кто-то из стоящих рядом даже присвистнул. Про два года он, разумеется, погорячился, но в тридцать один уже был доктором. А науку-то настоящую первый бросил. И раньше было понятно, для чего ему была нужна наука, бедному подкидышу из Тайшета, и сейчас, значит, продолжает кому-то доказывать. Все уже признали, согласились: «Доказал, доказал! Хватит уже, уймись. Государственная премия у тебя... что тебе еще надо? Нобеля, что ли? Стал бы членкором... Ну не в этот раз, так в следующий, никуда бы они не делись. А потом, глядишь, и в академики... мы бы гордились знакомством. Как ты нас подвёл. Вот скажи, куда тебя понесло?» А ведь тяжело ему было, наверное, уходить из науки, которая хоть и средство, а все-таки душа прикипает. «Бедный Юрка, бедный...»

Очень явственно ощутила Александра, что отец стоит рядом, за правым её плечом, рассматривает Юркин дом вместе с ней, сдерживает себя, неодобрительно молчит, лишь издает иногда раздраженные звуки, такие недобрые хмыканья; ей кажется, она слышит его хриплое дыхание, она не согласна с ним, но не спорит. Вот так – жизнь чудесным образом перевернулась. Ничего чудесного не находит отец в этом перевороте, может быть, даже бормочет: «Слава Богу, не дожил». Что уж с ним спорить. Тень матери снова поминает упущенные возможности и намекает на вечную свою правоту. Александра вспоминает, как мать практически упала в обморок, когда узнала, что Юрку подадут на членкорра, села, схватилась за сердце, запричитала: «Дура, какая ты была дура». Но и с ней Александра почему-то не соглашается.

Юрка, толстый, веселый, распахивает руки ей навстречу: «Европейская женщина... ё-моё», – прижимает к себе, шепчет в ухо: «Ага, Пашке первому позвонила, ну погоди... изменщица, годы проходят – ничего в тебе не меняется, душистая, однако. Духи у тебя какие? Не подсказывай, не подсказывай...» – целует в шею, ведет в гостиную. Там, видно, уже давно сидят. Увидели их – вскочили, завопили, кинулись обнимать, а вообще – эффект Мак-Клина в полном разгаре: это когда уровень шума в пьющей компании возрастает неожиданно и мгновенно, достигает невиданных высот и так остается некоторое время, пока не выдыхается, как всякое жизненное явление. Кто открыл этот эффект в студенческие годы, Александра забыла, но вспомнила только сейчас, узнавая с трудом эти старые оплывшие лица. Ничего-ничего: через мгновение они снова становятся молодыми и узнаваемыми, «...друзей моих прекрасные черты», – запел нежный голос. Но вот откуда-то из темноты, из дальнего угла бросилась к ней на нетвердых уже ногах, размахивая восторженными руками, маленькая истощенная старушка, зловеще напоминающая кого-то. Александра обомлела от ужаса и не узнала Лию, и только толчок в бок и подсказка Павла заставили её протянуть к старушке руки. Неужели и мы, и мы стали такими страшными, и почему нельзя ничего сделать с зубами, разве это такая проблема в европейском городе Петербурге?

Толстая женщина в лиловом смотрит из широкого кресла на Александру с улыбкой заговорщицы, белое лицо её тоже кого-то скрывает под набрякшими веками, в обвислостях пухлых щёк, в глубоких складках двойного подбородка. Женщина кокетливо склонила к плечу свежевыкрашенную каштановую голову, терпеливо ждёт и, не дождавшись, с трудом приподнимает из кресла своё колышущееся тело, надвигается на Александру, распахивает короткие ручки: «Боже, она нарочно

меня не узнаёт, негодяйка такая...» – «Машка? – вопросительно взвизгивает Александра и через мгновение кричит уже утвердительно и торжествующе, – Марыся, ты совершенно не изменилась!» Они обнимаются, отстраняются, рассматривают друг друга, непросто слёзки поблескивают в их глазах. Александра отмечает про себя, что, несмотря на обвислости, лицо Марыси всё еще привлекательно – кожа молодая и гладкая, теплые карие глаза сияют весёлым светом, и жизнь, похоже, для неё не кончилась с неожиданной смертью Валерия; всё такая же уверенная, властная, щедрая – одним словом, начальница. Пока их не оттащили друг от друга мужчины, Александра успела узнать, что в институте Мария Васильевна по-прежнему рулит лабораторией, которая ей осточертела давным-давно: надоело для всех выбивать гранты и мотаться по границам, в её-то годы, сидела бы у себя в Ушково, среди сосен, почитывала бы чего-нибудь на веранде, нюхала бы левкои, но нет абсолютно никакой возможности, опять же внук у неё в лаборатории, надо ему дисю сделать. «Да кому нужны сейчас диссертации. Говорят, никому они теперь здесь не нужны». – «Не скажи, пригодится... Это здесь они не очень ценятся, безработные доктора убиваются, в прямом смысле, да... не будем о грустном, и жены их бедные плачут, а у вас, кстати, в институте Планка диссертация очень даже может понадобиться, особенно если мальчишке двадцать три. Я его туда хочу пристроить». – «А как, как ты увлекла его, как уговорила заниматься наукой? Они же сейчас какие-то... ну, потусторонние... растут». – «А очень просто. За деньги. Деньги могут всё, не знаешь, что ли. А потом он сам втянулся... он толковый», – хохочет Марыся. На самом интересном месте – на расценках за обычные пятерки, за пятерки экзаменационные, за курсовые, за диплом и так далее – их растащили, как рассаживали в школе болтливых девчонок.

Судьбы России – свежая и новая тема. Орут друг на друга, свирепеют, всё как в молодости. Размазав по стенке тонким слоем всю российскую элиту (новое бранное слово), плавно обратились к проблемам цивилизации вообще. Распались на маленькие группки. Марыся держит Александру за руку, Павел обнимает её за плечи. Не слышат друг друга. Но иногда и слышат. Перебивают друг друга. Кто-то влезает с чем-то неожиданным, ни к селу ни к городу. Эффект Мак-Клина нарастает и бушует с устойчивой силой.

– Только не надо про общечеловеческие ценности.

– Почему не надо?

– Потому что нет у человечества этой вашей хваленой общности. Вы сначала создайте эту общность, тогда и про ценности говорите.

– Ну конечно, сейчас ты заведешь эту шарманку про золотой миллиард, который день и ночь соображает, как бы уничтожить остальные никчемные миллиарды, сидит, золотой и коварный, и чертит гнусные планы.

– Нет, ребята, весь вред от религий, запретить все религии, и дело с концом, жили мы без религий – и была дружба народов, причем настоящая: куда ни поедешь, всюду к тебе кидаются с дружбой.

– Тогда его спрашивают, а методика у вас какая? А он отвечает, эдак подбоченься, интуиция – вот моя методика, собрал свои бумажки и к выходу идет, не оглядываясь. Министр так и обомлел...

– Атеистический терроризм мы уже проходили.

– Но согласись, он все-таки не такой кровавый, как мусульманский.

– Но уж очень настырно лезут православные и сладкие...

– Стоп, здесь есть православные, папашу...

– Лукашенко замечательно сказал: «Да, я атеист, но я православный атеист».

– Да это анекдот.

– Марыся, ну ты же не можешь его уволить, как он будет на пенсию жить...

– Да я его уже знаешь сколько держу. Мы же из-за него грант не получили.

- Так ведь он прав был, вы же сами понимали, что это очередная панама...
- Да, панама, но жить-то надо. Я сама иногда такие отзывы пишу – ой-ё-ёй, плююсь, возмущаюсь, но перекрещусь – и пишу. Ты не понимаешь, ты жизни нашей не знаешь: абстрактная научная правда может быть в прямом смысле губительна.
- Да-да, мы это уже слышали, абстрактные человеческие ценности...
- А вот я тебе расскажу, как я на байпас Савчуку деньги выбила, как мы собирали всем миром – это какие человеческие ценности? Абстрактные или конкретные?
- Ну хорошо, ну ты согласен, что даже слова эти, «либерализм», «демократия» или, извините за выражение, «права человека» – стали отвратительны?
- Так нас оклеветали. Кому-то это выгодно.
- Повели себя как вольноотпущенники...
- Ты хочешь сказать – как быдло?
- Если тебе так нравится...
- Юрка прав, опять попёрли буераками, по бездорожью, особый путь, ё-моё, самобытность долбаная – нет чтоб на людей посмотреть...
- Откуда они взялись, мутанты эти, менеджеры с бойкими глазками, менагеры шустрые, готовые рулить всем, на чем можно бабло срубить? Срубить по-быстрому и свалить с добычей. «Долой вечное!» – это их мотто, слоган.
- Лия, оставь Серёгу. Чего ты к нему вяжешься. Ты ему кто теперь?
- Я хочу, чтобы у моих внуков был дедушка, чтобы у них был комплект. Ему вообще нельзя ни капли, это вам на всё наплевать и друг на друга. А ему я бабушка его внуков. Понятно тебе? И вообще – не вмешивайся.
- Пашка, ты хоть представляешь, какие у нас децильные коэффициенты? Ты мне еще Москву приведи в пример.
- Не ори на меня...

И вдруг все объединяются, начинают поносить эмиграцию. Ага, бросили нас. Захотели в чистенькую Европу, в богатенькую Америку. Вот Петька остался в Беркли, людей подвел, это порядочно, да? А другие воспользовались своей формальной национальностью. Ну да, а бросить Петра, когда его сократили и он арбузами торговал, это порядочно? А не надо директорам грубить. Кто его бросил, кто? Пашка его, можно сказать, облагодетельствовал, устроил в Политех. На него рассчитывали, а он как раз всех и бросил, арбузы эти не простил. Да, не простил, не простил вам эти самые арбузы, а теперь у него сто тысяч в год. Предатели, предатели – вот вы кто. Но через пять минут разговор поворачивается. Александра разомлела и восхищается: «Ах, как у вас тут замечательно, какой все-таки фантастический город, центр отреставрировали просто блестяще, и какое это счастье понимать каждое слово в толпе». – «Нешто ты забыла эти слова? Вот уж нашла удовольствие... В толпу ей захотелось, молодых дебилов послушать...». – «Действительно, без мата они не говорят», – подтверждает Марыся. «... И быть с вами... Вот сделаю ремонт в квартире и буду тут жить, вы ведь живёте – и я буду, а дети пусть там кувыркаются». Сначала друзья слушают и похвально кивают головами, потом вдруг дружно и возмущенно накидываются на неё, всплескивают руками: «Да ты в своём уме, девушка? Не наливать ей больше: видите, совсем крышку сносит. Сиди уж где сидишь, в гости приезжай, и мы к тебе тоже прилетим, обратно же в Баден-Баден смотаемся, недалеко ведь от тебя Баден-Баден?» – «Да, совсем недалеко». – «Ну вот, а ты говоришь... сиди уж. Знаешь, как на Лизочку среди бела дня напали». И начинаются описания ужасов бандитского Петербурга. «Пустяки, – не унимается Александра, – кому я нужна, а зато ни в одном городе нет такой реки, нет такого неба ни в одном городе, когда мы с Павлом сейчас ехали через Кировский мост – Троицкий теперь, да? – такие цветные тучи клубились над Петропавловкой, невообразимой красоты небо...» – «Ну, небо здесь,

положим, преимущественно серенькое». — «Сам ты серенький». — «Видали: приехала и грубит». — «Да мы ведь действительно по сторонам не смотрим, а уж на небо...» — примирительно вякает Лия и почему-то взглядывает на Марысю. «Я когда приехала из Парижу, помню, и попала прямо в белую ночь, — вступает Мария Васильевна, — меня еще Валерка встречал...» — «Патриотические речи запрещены, запрещены Думой в первом чтении, дабы не разжигать эту... ну, чё у нас разжигают? Ну, эту, как её. Рознь».

Но какая-то психологическая загадка продолжает томить души друзей: ну хорошо, мы тебя простили, а как все-таки ты решилась, как это все вызревало в твоей дурацкой головке... Юрка придвигается к ней, оттирает в сторону Павла, гладит по голове, заглядывает Александре в глаза:

— Ну чего ты, Санька, уехала, чего тебе здесь не хватало? Все у тебя было...

— Ну да, квартира, машина, дача — полный набор...

— А что, много ли человеку надо? Все ведь у тебя было, и заработать могла. Я бы тебя к себе в фирму взял — знаешь, какие мы проекты закручиваем.

Александра вдруг серьёзно задумывается и честно признается, что просто хотелось что-то изменить в своей жизни, — хотя да, действительно, все здесь было... но в какой-то момент вдруг поняла, что это именно — всё, ничего нового уже не будет, и вдруг захотелось — ну да, рожна какого-то... но «ты этого не поймешь».

«Ну почему же? Это, пожалуй, я понимаю, — грустно говорит Юрий Сергеевич, и тоже очень серьёзно. Замолкает, думает о своём и добавляет: — Вот это я как раз понять могу. Верю я тебе, хлопец, верю. А вот у меня есть гениальная идея...». Рука его со сжатым кулаком победно взлетает вверх, пальцы медленно разжимаются, расправленная ладонь некоторое время парит над изрядно разоренным уже столом и вдруг безошибочно выхватывает из центра стола непечатую бутылку «Абсолюта».

Павел прикрывает рюмку ладонью, но Юрка неумолим: «Не говори с тоской — не пьём, но с благодарностью: выпьем», — разливает ледяную водку. «На здоровья!» — весело восклицает абсолютно чужой человек, сидящий напротив, никому не нужный здесь иностранец. Это он Александре не нужен, а для Юрки он инвестор. «Со свиданкой», — говорит инвестор и подмигивает непонятно кому — глаза его уже давно ни на чем не фокусируются, отводит локоть, лихо опрокидывает рюмку, бурно дышит — так, видно, его научили соискатели инвестиций, сосредоточился, целится в соленый гриб, промахивается, снова целится — настойчивый, наконец подцепляет за краешек и забрасывает в рот, торжествующе чмокает. «Ты молоток, Билли», — бьет его по плечу Сергей. «Что такое значит — молоток?» Сергей объясняет, что это, мол, хороший человек, наш человек, тянется за бутылкой и снова наливает рязмякшему инвестору. «Оставь его в покое», — тихо шипит Лия, надо отдать должное: она еще из последних сил старается контролировать ситуацию, хотя вид её удручающ — в углах бледных губ застыла какая-то пена, липкие сероватые пряди повисли вдоль ввалившихся щек, жесты неточны и порывисты, да и язык слегка заплетается; но слез еще нет — или уже нет, помнится, раньше на этой стадии у неё начинались рыдания о загубленной жизни, может быть, сейчас, когда ни у кого уже нет по этому поводу сомнений — ну, загубленная, у кого она не загубленная — слезы кончились, выплакались окончательно. Ничего ведь не изменишь. Кажется, с Сергеем у неё сохранились вполне дружеские отношения, общие дети и четверо общих внуков — это кой-какие права, поболее, чем у его новой жены.

— О! Только не надо нас пугать, кто эти люди, кто эти оккупанты? — вырывается из общего шума чей-то голос.

Инвестор потянулся через стол, схватил Александру за руку, по-видимому, считал её своей, так ему показалось, выкатил глаза, зашептал с детским ужасом: «Россию оккупировали патриоты?» – «Да нет, вы не поняли. Антипатриоты». – «Это какие?» – «Те, кто не любит Россию». – «Ваши друзья не любят Россию?» – «Любят, конечно...» (Александра немного запинается: она не уверена, можно ли так употреблять этот глагол, но ведь употребляют). – «И поэтому они её оккупировали?» – «Да нет же они просто здесь живут». – «Но кто же оккупировал?»

«О Святая Богородица! – взвыл Сергей и сделал такое движение, как будто рвёт последние седины, – идиоты её оккупировали. Вот кто. Устраивает?»

«Далеко не идиоты, скажем так, совсем не идиоты», – возражает голос. Кто это, Александра уже не понимает и не делает усилия понять. Кто-то еще пришел в гости. Чужие люди. Она их не знает или не узнаёт. Иностранец растерянными глазами продолжает искать понимания. Марыся, лениво растекшаяся по креслу в своём лиловом балахоне, оборачивается к нему, говорит нежно, проникновенно, как психоаналитик с клиентом: «Дорогой Билл, никого не слушайте: никто, слава Богу, не оккупировал, это такая метафора...». Билл лепечет: «Мета? Мета? Чиво?» – шумно выдыхает, всхлипывает, откидывается на спинку дивана, закрывает глаза и, кажется, отключается. «Шурочка, его надо уводить» (это голос Юрия). При попытке увести инвестора он неожиданно воскресает, отбивается, поднимает голову и заводит на непонятный мотив: «Наши калаши чудно ха-а-а-раши». Что это за калаши? Может, автоматы? Калашникова? Да?

Нарастающий абсурд делает мир прекрасным, восхитительным, нестрашным, время исчезает навсегда, перестает тикать и гипнотизировать, отлетает в небесную даль, где никогда не будет уже ни обманов, ни измен, никто никого не бросит и не предаст... Бесконечная вселенная сжимается в просторный шар, залитый теплым переливающимся светом, где все навеки вместе.

Несмотря на исчезновение времени, благодать и невообразимый покой длятся недолго и сменяются какими-то душными вязкими волнами. Они вздымаются и опадают, раскачивают ритмично нелепое жалкое тело, возвращают на постылый берег.

Александра давно уже чувствует, что предел её сил совсем близко, к горлу подступает неотвратимая мерзость. Лица друзей дрожат перед глазами, и очертания их размыты, в воздухе плавают, отдельно от тела, улыбающаяся голова инвестора, сквозь неё легко проходит чья-то рука с вилок, замирает над столом, что-то выискивает, нашла, хищно протыкает, исчезает с добычей. Нужно как-то выбраться отсюда. Александра потихоньку передвигается к краю стола, пытается встать – нет, не получается, её слегка заносит. Молодая жена Юрки оказывается рядом, подхватывает её под руку, обнимает за талию (какая милая), доводит до ванной. Только бы дотерпеть до унитаза. Она опускается на колени, чья-то рука поддерживает её лоб, как бабушка в детстве. Страшные и унижительные спазмы, выворачивающие душу, набегают волнами, сотрясают тело. Какой позор, какой ужас: может быть, это такая инициация для всех возвращающихся в родные края, такой жестокий ритуал, здесь такие края: нужно испытать боль и несмылаемый позор. Очень даже смываемый. Бурный поток обдаёт лицо ветерком мельчайших брызг, и уже можно дышать. «Ну вот, сейчас всё пройдёт», – говорит участливый голос. «Как её зовут? Да так же, как и меня: Шурочка – вот как называл её Юрка». Шурочка вытирает ей лицо мокрым полотенцем и усаживает на узенький диванчик. У них тут диванчики в ванной... и зеркала во всю стену... как у Павла... давно. Сознание проясняется, но только на мгновение, глаза сами собой закрываются, тошнотворная тьма начинает вращаться, сначала медленно, но постепенно набирает невероятную, безумную скорость. «Это конец», – отчетливо и удивительно спокойно думает Александра и больше не сопротивляется.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. **ВДОЛЬ ИЛИ ПОПЕРЁК**

Из беспокойного, жуткого, но поверхностного сна Тину вырывает звонок. Не сразу понимает, что это телефон, – кажется, что продолжение сна, спохватывается, судорожно ищет трубку – да вот же она, дрожащими руками случайно нажимает громкую связь и просыпается окончательно. «Андрей, Боже, что, что...?» – «Всё нормально, мама...» – «Ты соображаешь, который час?» – «Соображаю. Извини, тут такое дело...»

Он мог бы и не объяснять. Она догадывается сразу: ему нужны деньги, как всегда, деньги. Срочно. Зависит жизнь. Тина пугается, но уже привычно: так не раз уже было. Но все-таки немного страшно. Ну, не убьют же его, на счетчик ставят только в дурных фильмах, не те времена нынче: такую мелочь теперь не убивают – теперь заместителей правления банков убивают или губернаторов каких-нибудь, организованная преступность по-настоящему организовалась – ну, наконец-то, так долго ждали – и даже подавляет неуправляемых отморожков, а маленькие мастера перфомансов никому не нужны. Однако страшновато. Дурные сны хуже дурных фильмов. А ведь только что снилась какая-то гадость: безликие чудища, то есть лиц у них не было – только руки – просовывали тонкие ножи, длинные лезвия в щели мчащегося вагона, старались до неё добраться, да, она находилась в каком-то несущемся в темноте вагоне, прижималась к грязному полу, чтобы лезвия просвистели над головой, и вдруг оказывалось – это не она, это Андрюша вжимается в грохочущий пол, и его бьет огромный ботинок, Андрей закрывает голову руками, кричит, воет, зовет на помощь, и она всё это видит, но поделать ничего не может: непонятно, почему, не может пошевелить рукой, не может издать ни единого звука: она превращается в огромный глаз или в изнуряемый его криком слух, нет ни рук, ни ног – ничего нет, кроме страха. Больше ничего не помнит – только страх и беспомощность.

Постепенно приходит в себя, тяжело приподымается, садится на постели, отбрасывает одеяло, очень медленно опускает ноги; пульсирует кровь в затылке, подташнивает, нащупывает таблетку, тянется за стаканом, тяжело глотает, боль в горле – этого еще не хватало. Но главная боль в голове. Привычный массажный пробег пальцев от затылка к вискам, над ушами, вокруг, несколько раз. Замирает, ждет, никаких резких движений. Сжимает мобильник, безнадежно нажимает единицу. Ну конечно, ничего удивительного: «Абонент временно недоступен, позвоните позже».

За дверью шуршание и позвякивание, колесо ходунков просовывается в дверь, скрюченные пальцы держатся за притолоку: «Кто звонил, Валечка? Паша?» – «Нет, Марина Сергеевна, идите к себе». – «Но с кем же ты разговаривала?» – «Ни с кем». – «Вы со мной обращаетесь, как с сумасшедшей». Та-а-ак, начинается... Тина прикрывает глаза, стараясь не поворачивать голову, накидывает халат, проходит мимо старухи, запирается в зеркальной ванной, открывает кран, пускает холодную воду, прижимает ладони к лицу и глазам – становится немного легче, в голове проясняется, – сидит на краю ванны, закрыв глаза, – холодно! прибавляет понемногу горячую. Напустить бы полную ванну прекрасной теплой воды, заснуть и не проснуться. Один знакомый врач говорил, надо резать вдоль вен, а не поперёк, как делают все жалкие неудачники, притворные самоубийцы, – тогда точно не спасут.

У Андрея несколько поперечных шрамов.

За дверью металлическое дребезжанье, визг резиновых колёсиков, ручка двери поворачивается. Старуха колотится в дверь, жалобно просит: «Валечка, открой,

что ты там делаешь так долго? Открой немедленно, перестаньте меня пугать, наконец, за что мне эти мучения...». Неужели те же мысли пришли в голову безумной старухе. Не такая уж она безумная. Первый раз это произошло в этой ванне. Хорошо, что Павел был дома: он умел в страшные моменты собраться и крови не боялся – быстро перетянул где надо. «Грамотно, очень грамотно», – сказал врач, и «Скорая» приехала через двадцать минут. И санитары были трезвые, и молодой врач – спокойный, деловой и, судя по всему, толковый. «Так всё удачно сложилось», – говорила потом Марина Сергеевна кому-то по телефону, на следующее же утро, – сразу доложила каким-то своим подружкам, всех обзвонила. Тина плохо помнит, что она сама делала, не смогла бы описать даже свои ощущения, свои «чувства». «Отстань от меня со своими чувствами», – говорил Андрей, когда был мальчишкой. (Теперь он использует другие формулировочки: «Не говорите мне, что я должен делать, и тогда я не скажу, куда вам надо идти» – язык дружков, «падонкоф»-переростков, усвоил.) Помнит, что двигалась в обморочном тумане, помнит запрокинутое мокрое лицо Андрея, очень белое лицо – смертельная белизна, слипшиеся волосы, запавшие щеки. Несли на носилках, рот его был приоткрыт, некрасиво скособочен, виднелся кривой зуб, слюна стекала по подбородку, безжизненная рука упала, закачалась на весу, кто-то поправил, прижал к телу, пошел рядом с носилками. Соседи высыпали на площадку – ночные мятые лица, чужие, посторонние и злорадные глаза. С трудом вырвалась из Настиных рук, бежала по лестнице вниз, вслед за ушедшим лифтом, носилки косо, но поместились в лифте, слышала бодрые голоса санитаров: «Ещё чуть-чуть, остороженько, вот так, а теперь на себя, отлично, прекрасно...»; – что-то кричала. Павел у самого выхода схватил её, крепко держал – потом синяки остались на руках, не пускал на улицу – санитары уже занесли носилки в машину. «Спокойно, Тина. Успокойся, я поеду с ним, обещаю, а ты поднимайся наверх. Поднимайся наверх, ты слышишь меня, поднимайся наверх и жди, я буду звонить каждый час, обещаю...» Затолкали вместе с Настей в пасть лифта, и в лифте она обмякла, затихла, позволила Насте укутать себя в плед и обнять, молча прошла мимо расступившихся соседей. Уже вставив ключ, Настя оглянулась: «Представление закончено. Можете расходиться».

«Валечка, открой мне дверь, я требую». Господи, она перебудит девчонок. Надо выходить. «Ну в чём дело, Марина Сергеевна? Что случилось-то?» – «Ничего не случилось. Имею я право воспользоваться ванной?» – «Да пользуйтесь сколько влезет». – «Ты грубая стала, Валечка. Да! Я тебя совсем не узнаю». – «Станешь тут с вами...»

Заснуть уже не удастся, но можно сделать какие-нибудь полезные дела, пока не проснулись девочки. Тина ставит вариться овощи для винегрета, достает мясо из морозилки, загружает бельё в стиральную машину, снова набирает номер Павла – «абонент временно недоступен» – прислушивается: кажется, старуха угомонилась, подходит к её комнате на цыпочках, но не заглядывает, и вдруг слышит громкий шепот: «Валечка, это ты? Зайди ко мне». У неё еще и слух великолепный. Как это может быть в её годы? Молодые позавидуют. В своё время извела Павла своим слуховым аппаратом: столько денег потратили – так и не смогла носить. Но то, что ей надо услышать, все слышит. Ничего неприятного слышать не желает, и не толкуешь, даже если напишешь аршинными буквами. Еще и объясняет. «Я очень эмоционально устроена. Ничего поделать не могу. Так всегда было». Слух у неё эмоционально включается и... выключается. И некоторые органы тоже.

Марина Сергеевна лежит на высоких подушках. Окна закрыты плотными, тяжелыми шторами. Душно, пахнет пылью и какой-то кислотой. На прикроватной тумбочке бутылочки, большие и маленькие, тарелка с остатками еды, какие-то засохшие огрызки, ошметки. Неприятный запах вздорной и несчастной старости.



«Валечка, мне кажется, кто-то постоянно не закрывает входную дверь. Ко мне заходит эта женщина». – «Какая женщина, Марина Сергеевна?» – «Ну эта... бездомная, должно быть. Садится вот тут. Скажите ей. У меня узкая кровать, мы не поместимся, я не могу ей помочь, говорит, что ей негде голову приклонить. В конце концов, это просто невыносимо. Существуют специальные службы для таких... Объясните ей: я ничего не могу для неё сделать, мне её искренне жаль, но я сама...» – «Да-да, обязательно, конечно, как можно, я сейчас же с ней поговорю». – «Ты не забудешь?» – «Я же сказала: сейчас и поговорю, где она, кстати?» – «Да вот как ты зашла, она юрк... и вышла – за дверью, видно, дожидается». – «Ну хорошо, я всё улажу». – «Может быть, попросить Павла...» – «Не будем его беспокоить, я как-нибудь сама, а вы закройте глаза и постарайтесь заснуть, уже почти утро». – «Уже утро... – повторяет Марина Сергеевна покорно и всхлипывает, – посиди со мной». – «А вы закройте глаза». Марина Сергеевна послушно закрывает глаза – несколько свистящих вздохов, и через минуту она спит. Тина недолго сидит на краешке кровати, дожидается равномерного похрапывания и на цыпочках выходит. Кажется, пронесло. В прошлый раз, когда старуху позвал тоскующий муж, Павла тоже не было дома. Впрочем, почти каждую ночь разыгрывается новый спектакль – правда, есть повторяющиеся персонажи: бездомная женщина появляется почти каждую неделю, но чаще всех звонит по тайному, никому не слышному телефону далекий муж, причем ночью, и, кажется, не всегда один и тот же. Услышав зов, Марина Сергеевна со всеми предосторожностями вытягивает из-под кровати заранее приготовленный тайный чемоданчик, загружает его в корзинку своих уличных ходунков – бывает, что успевает выскользнуть из квартиры и спуститься вниз на лифте. Тина мчится за ней в ночной рубашке, в развевающемся халате, догоняет почти на трамвайной остановке, они рвут друг у друга чемодан прямо на трамвайных путях, из чемодана вываливается скомканное тряпье. Несчастливая старуха рыдает. Две всклокоченные женщины, безумные и старые, никому не нужные, сражаются на пустой улице, иногда лишь отодвинется занавеска в бессонном окне, и мелькнет за стеклом белое и тоже старческое лицо, а больше никто их не видит – только сама Тина представит потом, как, наверное, дико и нелепо они выглядели, две дерущиеся распатланные старухи, и зажмурится от бессилия и отвращения. Но это потом, уже в квартире, на пороге которой стоит Настя со своими ненавидящими глазами, со своими обнявшими, перепуганными девочками, когда удастся уговорить старуху – то ласками, то сказками – вернуться. В первый ночной побег, поймав беглянку уже на проезжей части, Тина, плохо сдерживая злобу, кричала: «Никакого мужа у вас нет, Марина Сергеевна, пошли домой». – «Это у тебя нет, а у меня есть», – ехидно, со значением отвечала старуха (знает, всё знает, еще и улыбается) и чемоданчик не выпускала. Простонародные соседки, к которым Марина Сергеевна спускалась в теплые дни и демократично усаживалась с ними на лавочке у подъезда, были совершенно уверены, что где-то действительно есть у неё муж, но жестокие дети не желают его прописывать в квартире и её к нему не пускают, всячески препятствуют их последней любви. Верили, качали головами, поддакивали, вякали что-то сочувственное, ждали своей очереди рассказать про своих детей – пьяницу зятя и хамку невестку, про бездушное молодое поколение. Постепенно Тина научилась вести свою роль с холодной головой, терпеливо слушать, даже поддерживать разговор, не раздражаясь, не срываясь на крик. В последний раз было достаточно доброжелательно заметить, что нельзя к мужу, особенно после долгой разлуки, отправляться в таком неухоженном виде, с некрашеной головой: «Я сама вас завтра и покрашу». – «Не верю я в эти краски, все они – поддельные, вот раньше были болгарские...» – «У меня есть настоящая, новая краска, немецкая, абсолютно настоящая, прямо из Германии, мне подарили...»

Что удастся придумать в следующий раз, и каким он будет, этот следующий раз, – лучше не думать.

Тина снова набирает телефон Павла – нет, сам телефончик не набирает, она лишь нажимает единицу, он у неё в памяти под первым номером, телефон нежно телепенькает – «абонент временно недоступен». Самый главный, самый первый номер недоступен. «Временно» – это успокаивающая формула.

«Не говорите мне, что я должен делать»... – однако когда припечёт, звонит родителям. И Тина счастлива, что звонит. Павел как-то попробовал по-своему закончить фразу, вернее, попробовал вступить в диалог: «Тогда и я скажу, куда тебе, именно тебе, следует идти», – так Андрей вылетел из квартиры, сдернув с вешалки куртку, а шапку забыл. Понесся прочь, выплевывая проклятия, исчез надолго. Искали его потом по друзьям и подружкам, пока одна не сообразила: «А, так это Рюха, что ли, который передознулся?» Встретилась с этой погибшей девушкой, принесла ей деньги «мне на лекарства маме» – понятно, какие лекарства. Но девушка помогла, привела к Андрею в какие-то смрадные трущобы. Посмотрел на неё застывшими глазами: «Зачем явилась? Разве я тебя звал?»

Унижениями и слезами уговорила вернуться. Только через полгода переступил порог их дома. Вернулся с новыми поперечными шрамами (от запястья почти до локтя), худой, страшный, молчаливый и равнодушный. «В следующий раз по моргам будете искать». Лицо тёмное, в глаза не смотрит. Умоляла Павла оставить Андрея в покое, не учить, не советовать – боялась, что снова уйдет. Пусть успокоится, отдохнет, начала кормить как малого ребенка, закармливать, готовила для него что-нибудь необычное – разрешал, безразлично пожимал плечами, пугало отсутствие эмоций, лицо его часто напоминало ей маску – без улыбки, неживое. Внушала Павлу, что ничего не остаётся – только отступление по всем фронтам, как учил один мудрый педагог. «Ну хорошо, отступили мы, – спрашивал Павел, – а дальше-то что?» – «Ждать, терпеть и ждать, он такой, он гордый, видишь, не просил нас о помощи». – «Гордый? Не смей меня... Гордый? Да он просто забыл, что мы существуем. А теперь вот вспомнил. Сообразил, что и с родителей можно кое-что слупить».

Потом наступил просвет: галерея на Староневском продала его картинки. (Павел: «Ну, не перевелись еще сумасшедшие дураки».) Он откормился, снова стал красивым, обаятельным. Появилась эта галерейщица, удачливая, деловая, как с неба свалилась, пригрела, устроила ему отдельную мастерскую. Компания уже была другая. Конечно, многие на «колесах». Травка – это уж обязательно, может быть, кое-кто и кололся, хотя Андрей и отрицал, но не уголовники же – просто такая мелкая богема. Придумал хеппенинг с белыми платьями. (Или все-таки перфоманс?) Увлёкся. Взяли кредиты. Галерейщица уболтала спонсоров. Белые платья сбрасывали с вертолёта над Невой, они нежно распускались в воздухе, как белые небесные цветы, кружились над водой и мокрыми бесформенными тряпками уносились под мост. Публика от восторга бесновалась на берегу. Молодые, незнакомые, больные существа; вскидывали руки, раскачивались, вопили дикими голосами под безумный биг-бэнд. Московским режиссером была поставлена настоящая русская драка. С кровью. Иностранцы непрерывно снимали. Появились статьи в Германии, фотографии и документальный фильм про новый авангард Петербурга. Заработали кое-что, у Андрея появились визитные карточки с золотыми буквами на двух языках, галерейщица, представляя его спонсорам, с гордостью говорила: «Мастер российского хеппенинга и лучший современный инсталлятор».

«Дай ей Бог здоровья. Может, всё и наладится у него. Пусть уж она будет рядом. Дай ей Бог здоровья. У мальчика дело появилось, он увлечён...» – шептала Тина.

«Да ладно тебе. Какое дело, о чем ты говоришь?» – раздражался Павел.

«Кто-то поверил в него, поверил, что он талантлив, не имеет значения, сколько ей лет, не приницип мне эти сплетни». – «Это не сплетни – это, к сожалению, факты». – «Все равно: у нас не хватило терпения, а у тебя не хватило любви, нашлись люди, которые что-то увидели в нём – кому-то, значит, нужны эти хеппенинги, раз за это деньги платят». – «Да ты хоть понимаешь, что это такое? Это же чушь собачья. Делай что хочешь и называй это "хеппенингом" или "перфомансом" – кому какое слово больше нравится. Ерунда всё это». – «Ты нарочно хочешь казаться старомодным, мерзким, самодовольным». – «Никем я не хочу казаться. Просто у меня мозги есть». После долгого молчания Тина спрашивала осторожно: «А сколько ей лет все-таки?»

То, что галерейщица родила девочку, донесла Настя, давно, как бы между прочим, за обедом, когда – редкий случай – они втроем сидели за столом.

«Ты хочешь сказать, что она родила Андрею дочь?» – уточнил Павел.

«Ну да. Вы что, не знаете? Они уже два года живут вместе». – «От нас требуется какая-нибудь реакция? Во всяком случае, Андрей должен сам об этом сказать». Настя только пожала плечами.

Потом уже были неудачи. Кредиты не вернули. Андрей требовал продать дачу.

«Продавайте, пока люди деньги хорошие дают». Стыдная ссора случилась у Насти с Андреем. Настя плакала: «То есть как продать дачу, а дети? куда детей летом девать? а бабушку?» – «Детей к папочке, на Западное побережье – или где он там обретается, они будут безумно счастливы, гарантирую». – «А бабушку, значит, к бабушке, на Северное, но кладбище?» – «Хорошая, здравая мысль». – «Подонок!» – «Жалкая кретинка».

Через несколько месяцев Андрей произвел первую акцию: выкрал из стола Павла какие-то бланки, образцы подписи и печать (сейфа еще в кабинете не было) – неясно, для чего, вроде бы никак не успел воспользоваться, бормотал невнятные оправдания. Тогда еще было у Павла своё малое предприятие: все, кто мог, открыли простенькую схему перекачки бюджета. Институт зарплату практически не платил, но людей содержать надо было (так оправдывались начальники) и выполнять договора. Ну и другие возможности открылись у владельцев счетов и права подписи, а также откаты, накаты, но главное – фокусы с наличкой (запутанное время, дикое, страшные соблазны, никто не преодолел). Был скандал. Павел пытался отобрать ключи. Андрей печать и бумаги вернул, с ключами ушел и появлялся в квартире время от времени.

Тина снова пытается дозвониться до Павла. При первом звуке бездушного приветливого голоса отключается.

Перед глазами встаёт сцена: раздраженный герой сериала выбрасывает в окно мобильный телефон.

Тина подходит к зеркалу в прихожей, криво сама себе улыбается: так она никогда не сделает, никогда не позволит себе такой естественный, нерасчетливый жест, а ведь как иногда хочется...

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ. УТРО ТУМАННОЕ

За окном уже светло и туманно. Тина чистит овощи с закрытыми глазами. Невыносимо хочется спать. По коридору проносится детский топоток – это Сонечка пробегает в ванную, потом сердитый голос Насти – вытаскивает из постели огрызающуюся Ирину. Тина с трудом поднимается, опирается на стол, хватается за стулья – её ощутимо качает, расставляет на столе чашки, включает чайник, собирает очистки, выбрасывает в помойное ведро. Настя заглядывает в кухню: «Привет. О,

винегрет, что ли? Отлично. Ну как ты?» Тина трет лоб, качает головой, хочет промолчать, но говорит: «Совсем не спала». Настя хмыкает: «Было у тебя такое утро, которое начиналось бы с какой-нибудь другой фразы?» Прочь обиды, нельзя ответить обиженным голосом. Поворачивается к Насте спиной, молча достает из холодильника масло, творог, сливки и долго там что-то переставляет: нельзя с утра заводиться, нельзя ссориться с Настей. Но, как назло, Настя сама начинает каждодневный неприятный, непрекращающийся разговор – издали, не прямо, намеками и фразами, непонятно к кому обращенными, – об эгоизме старости, о невозможности жить в этой дурацкой квартире, т.е. в одной комнате с девочками, когда бабушка занимает две огромные комнаты, причем самые лучшие, самые светлые комнаты. Тина коротко замечает: «Это её квартира, она всегда жила в этих комнатах», – спохватывается, замолкает, мелко-мелко режет морковь, вспоминает об Андрее, думает, как подступиться к главной просьбе – хорошо, что хоть не напомнила Насте о том, как они продали свою кооперативную перед отъездом в Штаты, а потом все сорвалось, то есть Настя сорвалась, выгнала своего ловеласа, не захотела терпеть, а денежки все куда-то мигом исчезли, притом чьи денежки, они даже не вспомнили. Да что уж говорить – обо всём говорено-переговорено. Наконец выдавливая из себя: «Андрей просит...», – видит негодующие глаза Насти и замолкает.

«Мама, я ничего ему больше не дам: во-первых у меня нет, а со счёта я снять не могу, ты прекрасно знаешь. А даже если бы и было... за ним еще старый должок, он же врёт как дышит, неужели вы всё еще верите». – «Настя, это же твой брат». – «К сожалению. Если бы можно было выбирать, выбрала бы себе что-нибудь получше». – «Ты бы и родителей выбрала получше». – «Да, и родителей». – «Что-то у тебя с выбором мужа тоже не заладилось, уж тут ты могла выбирать...»

Настя лучше владеет собой, не отвечает – только резко отодвигает чашку, встаёт из-за стола, лицо холодное, напряженное – сдерживается, заворачивает бутерброды для Сонечки, укладывает в коробочку. Сонечка смотрит на всех круглыми глазками, моргает, готова заплакать.

В кухне появляется Ирина, хмурая, волосы всклокочены, лицо отрешенное, рот разрывает зевота, еле переставляет ноги, ни на кого не смотрит.

– Может быть ты все-таки поздороваешься? – говорит Настя.

– И не подумаю, – отвечает дитя, берет стакан, набирает воду прямо из-под крана.

Настя вырывает у неё стакан, протягивает бутылку с минеральной. Ирина, глядя матери в глаза, разжимает пальцы, пластиковая бутылка тяжело, без звона, падает на пол, закатывается под батарею.

– Подними, дрянь!

– И не подумаю. Я сегодня невменяемая. Я... это, типа предупредила.

Поворачивается, идет в ванную. У Сонечки дрожат губки и катятся слезки. Тина прижимает её к себе и чувствует, что сама сейчас заплачет. Нет, нет. Надо терпеть.

Настя, я же прошу буквально на один день – просто до отца не могу дозвониться.

– Ну, это еще не факт, что он побежит спасать твоего ненаглядного сыночка, ну хорошо, хорошо, своего изовравшегося отпрыска. Почему же ты за отца решаешь? Очень удивлюсь, если он даст.

Квартира затихает. Настя с Сонечкой, наконец, ушли – проскрежетал вниз лифт, Марина Сергеевна спит, одурманенная своими пилюлями, Ирина уже весело болтает с кем-то по телефону, хихикает, потом появляется в кухне, личико чистенькое, умытое, волосы гладко зачесаны назад, собраны на затылке в тугий хвост, джинсики, свитерочек, глазки сияют умильно: «Тин, мне надо триста рубликов, ну минимум, мы с девочками идем после практики в "Саквояж", меня эта (надо

понимать, что Настя) теперь не спонсирует». – «"Саквояж"? Что это такое – "Саквояж"?» – «Ну кафе такое – "Саквояж для беременной шпионки" – так называется». – «Для беременной? Почему для беременной?» – испуганно интересуется Тина. «Ой, ну что за вопросы – приколы, понимаешь ты, просто приколы». – «Ну хорошо. А почему же ты не в школе?» – «Ну, Тин, я же говорю, сегодня практика – какая школа». Тина вздыхает, тяжело поднимается, уходит в спальню, возвращается, молча протягивает девочке веером шесть голубоватых бумажек. Ирочка подпрыгивает на месте, вытягивает губы трубочкой, целует воздух: «Ты единственная прелесть на свете», – хватая со стола бутерброд и яблоко, делает еще несколько ликующих подскоков и улетает в свою комнату.

Тина достает свой телефончик, нажимает единичку – никакого ответа, все тот же нечеловечески любезный голос оповещает о тотальной недоступности первого номера; потом нажимает двоичку:

– Андрюша, я не могу до отца дозвониться. Он вчера в Сосновом Бору остался, а теперь не отвечает.

– Знаем мы этот Сосновый Бор.

– Подожди, не злись, у меня вот наскреблось две тыщи – может быть, ты объяснишь им...

– Ты издеваешься, что ли? Двух штук не хватит даже на проценты. Ведь есть же у Настасьи подкожные, я точно знаю. Я отдам, я всё отдам, мне буквально на месяц, мне фонд Чурлёниса даёт, уже отправили, я конкурс выиграл, – кричит, срывается на визг, – ну что вы за люди такие, родственнички называются? Полезай в петлю, да? Ведь есть же у Настьки... Сама говорила.

При этом Тина явственно слышит какие-то весёлые голоса, даже хохот, играет музыка. Почему там смеются? Может быть, опять придумывает на ходу, как всегда. Веселит друзей. Какой-то мифический фонд Чурлёниса. Наступает пауза, Андрей, возможно, прикрыл трубку ладонью. И вдруг совершенно спокойным голосом говорит:

– Ну ладно – вези.

Тина старается не заметить, что Андрей даже не извиняется, не объясняет, почему сам не может приехать, почему мать с больными ногами должна ему везти деньги куда-то на край света. Тина просто радуется, что он уже разговаривает другим голосом, что закончился злобный визгливый крик. Совсем, совсем другой голос – спокойный и даже ленивый, у него и в детстве происходили мгновенные смены настроения, от неопишуемого восторга до полнейшей внезапной апатии, от пылкой влюбленности до совершенного равнодушия и даже отвращения к предмету любви.

– Куда везти, Андрюшенька? Ты где теперь?

Диктует адрес и номера маршруток, подробно и очень доброжелательно, советует, как быстрее добраться, потом великодушно спохватывается: «А знаешь что, возьми такси. Оплачу, оплачу... не волнуйся».

Пожилой таксист, насупленный, молчаливый, чем-то недовольный, везёт куда-то за Обводный. Не разговаривают. Хорошо, что не пристаёт с разговорами. На Загородном долго стоят в пробке, воздух ужасный, дышать невозможно, Тина несколько раз проверяет, гладит свой баллончик, вспоминает о дыхательной гимнастике, дышит как велено, смотрит по сторонам. За окнами соседних машин – напряженные, злые лица, много молодых женщин за рулём, постукивают по рулю ухаженными нетерпеливыми пальчиками, посверкивают блестящими ноготочками – тоже торопятся. Час пик. Хотя теперь все дни в городе сплошной час пик, разве что в воскресные дни посвободнее. Длинная тощая девица спиной вылезает из маленького опеля, продолжая с кем-то, оставшимся в машине, кокетничать, выпрямляется, озирается, лавирует среди стоящих машин, ухом прижимает к плечу

мобильник, лепечет, идиотически хихикает, ковыляет на неприлично высоких каблуках уже по тротуару, походка развинченная и пьяная – куда она может доковылять на своих серебряных каблуках, несчастная; два парня с одинаково ленивыми и бессмысленными лицами остановились, лыбятся, смотрят вслед девице, джинсы на парнях висят так низко, что кажется, они одновременно наложили в штаны и оттого передвигают ноги с большим трудом, что-то кричат вслед девице, она весело огрызается и скрывается за углом. Взгляд Тины скользит вверх, и она видит под окнами второго этажа короткую необычную вывеску, надпись «...йна». Водитель перехватывает её улыбку и тоже смеётся: «Дураки-остроумцы... выломали буквы. Приличное кафе, кстати, вкусно и недорого».

Постепенно пробка рассасывается, они выезжают на набережную и мчатся уже беспрепятственно. Нарядный центр остался позади, вокруг тянутся унылые пространства, Петербург Достоевского – тоскливые, разваливающиеся бывшие доходные кварталы. Наконец машина замедляет ход и долго, переваливаясь по ледяным грязным колдобинам, блуждает среди безжизненных домов с темными окнами, стёкла почти везде выбиты. Изредка скользят вдоль мертвых фасадов невнятные осторожные тени. «Снесут тут всё», – говорит водитель и останавливает машину. «Это здесь, – указывает он на темную низкую подворотню, понятно взглядывает на Тину и с неожиданным участием спрашивает: – может, вас подождать?» – «Да, да, конечно». На дворе ясный день, то есть не очень ясный, довольно пасмурно, но все-таки день, даже первая половина, но выйти из машины и ступить под своды низенькой подворотни страшно, все же в сумочке две тысячи долларов, не такая уж большая сумма – но это как для кого. Благодая изобретателей мобильных телефонов, Тина нажимает двоекку, Андрей у неё номер два: «Андрюша, я уже здесь, не мог бы ты меня встретить». – «Конечно, мамочка, сиди в машине». Голос радостный.

Через некоторое время из подворотни появляется не Андрей, а вырывается огромный пес, за поводок он вытягивает из темноты тоненькую, неестественно бледную зеленоволосую девушку, на шее у девушки кожаный ошейник с металлическими бляхами, у пса тоже почти такой же. Девушка приветливо улыбается, над бровью, над верхней губой и даже, кажется, на языке у неё металлические блестящие кнопки, а на хорошеньком ушке несколько тоненьких колечек – ну да, это называется «пирсинг», слово звучит не очень прилично. Пес беснуется и рвется. Девушка просит подождать и уводит пса в сторону помойных баков. Тина оглядывает старые кирпичные изглоданные временем стены, зияющие пустотой окна – впрочем, некоторые занавешены бесцветными тряпками, на одном подоконнике можно различить кривое разлапистое растение, народное, лечебное – алоэ. Неужели здесь живут? Через несколько минут пес возвращается вполне довольный и успокоенный, и девушка ведёт Тину по бесконечным коридорам, через подозрительные запахи, мимо каких-то грязных комнат, двери в комнаты приоткрыты, на полу, на тряпье, кто-то спит, иногда обитатели приподнимают головы. «Это что же – бомжи?» – с ужасом спрашивает Тина. – «Всякие», – отвечает девушка. Несколько раз они поднимаются и спускаются по узким перекошенным лестницам, проходят по узкому переходу между зданиями и оказываются совсем в другом флигеле. Собака приседает у железной двери и терпеливо ждет, девушка сосредоточенно разбирается с причудливыми и длинными ключами, что-то шепчет себе под нос – похоже, она не очень твердо помнит нужные заклинания, после нескольких неудачных попыток дверь все-таки со скрежетом открывается. За железной дверью приходится открывать еще две, но уже простые, деревянные, и, наконец, они оказываются в чистеньком закутке, в маленькой прихожей, даже зеркало висит на стене, на полочке перед зеркалом лежат чьи-то перчатки, меховые шапки; Тина узнаёт Андрюшин шарф, который сама ему когда-то связала. Откуда-то сбоку, практически из стены, появляется высокий истощенный молодой

человек, лицо его тоже какого-то бледного, сероватого цвета, взгляд блуждает, замедленным и вялым жестом он приветствует их, обменивается с зеленоволосой какими-то странными фразами, которые Тина не в состоянии ни понять, ни воспроизвести. (Ну да, они теперь так разговаривают, эти новые дети, непонятные, чужие, холодные, но... а Иринка, а как же Иринка, плачущая на Пискаревском кладбище... а у неё отклонения или тонкая организация.)

Собака кладет лапы молодому человеку на грудь, он, покачнувшись бессильно, припадает к стене, отворачивает лицо от мокрой собачьей морды, морщится, с трудом отталкивает пса и приглашает Тину следовать за собой. Идёт впереди, нетвердо переставляя ноги, буквально держась за стены. Останавливается перед высокой дверью, почтительно стучит. Дверь резко распахивается – Андрей с приветственным клёкотом протягивает к ней руки, обнимает, прижимает к груди. Непонятно для кого эта сцена и стоны радости. Неужели для этого бледного молодого человека, который неловко топчется рядом. Давно уже Тина не получала такой обильной сыновней ласки. Но приятно. «Да, – спохватывается Андрей, – это Ильяс, мой секретарь, незаменимый человек, знает ответы на все вопросы, рекомендую, знаток законов и подзаконных актов, юрист, экономист, широкий специалист». Ильяс протягивает визитную карточку. Тина машинально берет белый прямоугольничек. «Смотри не потеряй», – говорит Андрей Тине, поворачивается к Ильясу: «До пяти свободен. Но в пять, – поднимает палец, – принесешь текст контракта». – «Будет сделано, Андрей Палыч, всенепрременно». Тина понимает, что этот спектакль для неё, но только зачем?

Андрей широким жестом обводит просторное помещение с высокими потолками, с окном во всю стену. Стекла слегка мутноваты, но вокруг прибрано, пространство организовано не без уюта. Огромный низкий диван покрыт потертым, но старинным ковром, по стенам висят картины, самодельные светильники изготовлены из тыкв и бутылок, букеты сухих трав повсюду – на полках, на полу, на подоконниках, в углу – музыкальный центр, рядом с ним что-то вроде клавесина. Андрей приветлив, улыбчив, совершенно трезв, подтянут и красив – им невозможно не любоваться. «Все-таки Настя злая», – думает Тина и вытягивает из сумочки конверт. Он берет его, небрежно бросает на огромный стол, заваленный какими-то бумажными рулонами, книгами, газетами, одеждой, кусками цветных лоскутов, на одном конце стола стоит компьютер, монитор – большой, плоский, на другом постелена чистая скатёрка и стоят две чашки с недопитым кофе, вазочка с печеньем, прозрачная сырница. «Не хочешь ли кофе? А потом я тебе покажу нашу мастерскую». – «Нет, дорогой, меня ждет машина». – «Но ты обещаешь, что поговоришь с отцом?» – «Обещаю». – «Сегодня же?» – «Ну конечно, Андрюшенька». – «У меня срок – вчера, понимаешь, с большим трудом... на день дали отсрочку... хотя нет, что я говорю... до пяти часов... сегодня... в пять всё должно решиться... я буду ждать, Ильяс тоже будет на связи... Он к тебе примчится моментально».

Обратно её тоже провожает зеленоволосая. Собака остаётся с Андреем, зевнув, ложится у его ног. Снова они пробираются по темным переходам, через вонючий бомжатник, но путь уже не кажется таким длинным. Тина с любопытством незаметно разглядывает идущую впереди девушку – непохоже, чтобы это была галерейщица, мать неведомой девочки, – слишком молода. Неведомую девочку Тина не хочет впускать в своё сердце, никого больше не хочет впускать в своё сердце и никаким вопросам задавать не собирается.

Зеленоволосая вдруг останавливается и нежным благовоспитанным голоском спрашивает: «Вы не могли бы меня довести до какого-нибудь метро? У меня консультация в универе». – «Конечно, пожалуйста, а на каком вы факультете?» – «На медицинском» – «На медицинском? А что, в университете есть теперь медицинский?» – изумляется Тина и вспоминает, что в городе, кажется, что-то около восемнадцати университетов. Над головой слышен стук открывающегося окна, высо-

выдается бледное лицо незаменимого Ильяса. Он машет девушке рукой: «Камбэк к пяти. Привет эврибодям».

Водитель, увидев Зеленоволосую, проявляет неожиданную любезность, выходит из машины, распахивает дверцы и даже, обращаясь к Тине, спрашивает: «Все в порядке?» Девушка устраивается на заднем сиденье. Водитель поправляет зеркало – явно хочет рассмотреть девчонку, Тина усмехается, все замечает: все-таки молодость страшная сила; вся мрачность с водителя слетела, он игриво посматривает в зеркальце, интересуется, не принадлежит ли девушка к движению зеленых – хотелось бы примкнуть, девушка отвечает сухо и сдержанно.

Не успевают выехать из умирающего заповедника бомжей и художников, как в машине раздаётся знакомая мелодия, Тина вздрагивает – ей редко звонят, почти никто её номер не знает, судорожно роется в сумке, выдергивает разрывающийся оскопленным Равелем мобильник. Водитель косит глазом, усмехается, думает небось: бабка-то у нас упакованная.

Звонит секретарша Павла: «Извините, нигде не можем найти Павла Александровича. У нас несчастье ...».

Внезапно умер директор института Покровский, в своём кабинете; утром пришел на работу, как всегда, раньше всех, стал снимать пальто, захрипел и упал. Тина понимает, что упоминать Сосновый Бор нелепо, Ольга уже точно в институте, а где Павел – непонятно.

Удивительно устроено человеческое сознание: одна из первых мыслей Тины: у кого теперь спрашивать два тома Соловьёва, которые взял Покровский в прошлый раз, всего неделю назад. Он увлекался историей и вообще был таким нетипичным директором, избыточно интеллигентным для директора советского, а тем более постсоветского времени, рассказывали, что он единственный не употреблял мат в министерских сборищах, за что и слыл чужаком, но в институте его любили, уважали очень (уважать-то – многих уважают, но вот любить... «Бедный, бедный, – думает Тина, устыдившись корыстных мыслей, – бедная Надежда, как она теперь без него, бедные мы», – без влиятельного имени Покровского всё в институте станет еще хуже – тоже, вообще говоря, довольно корыстное соображение). Хорошо, если отнес Соловьёва домой: у Надежды можно будет со временем получить, а если оставил в кабинете, начнут разбирать бумаги... сгинут книжки среди бумаг или просто стащат, а жалко – старое издание. Одна из вторых мыслей: где же все-таки был Павел, значит, не с Ольгой – приятно, конечно, но и беспокожно...

Когда машина вынырнула наконец из пробки на Литейном, снова раздался Равель, но уже не такой неожиданный. Голос Павла: «Тина, привет, не застал тебя дома. Ты знаешь?...» – «Знаю», – коротко и резко отвечает Тина и нажимает на красную кнопку. Через минуту снова требовательно врубается Равель, и тогда Тина вообще отключает мобильник, смотрит некоторое время на мертвый темный экран и засовывает безжизненную коробочку личиком вниз на дно сумки. Судя по голосу, с Павлом всё в полном порядке, а разговаривать ей сейчас с ним не хочется, вообще ни с кем не хочется. И вдруг спохватывается: совсем забыла, что обещала Андрюше... Ну ничего, потом что-нибудь придумает – например, батарейка села, мобильник отключился внезапно. Вот ведь ни единого нерасчетливого движения не может позволить себе, ни одного искреннего жеста: окружили, обложили со всех сторон.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ТАКОЙ ДЕНЬ

Павел проснулся внезапно и окончательно, как от удара. Сон не покинул его плавно и незаметно, а выбросил из себя безжалостно в дикую головную боль и



мерзость всяческих ощущений внутри – в горле, в сердце, в желудке, в печени – во всем, что принято называть органами тела. Он нацупал мобильник: в беспамятстве вчерашней ночи все-таки успел положить его на тумбочку, на расстоянии вытянутой руки. Понажимал кнопочки. Бедная коробочка должна была вот-вот лопнуть от домогательств и требований немедленно позвонить. «Ох-хо-хонюшки, помереть спокойно не дадут», – пожалел себя. Звонки от Тины, от Ольги... странно, конечно, но от Нины Васильевны... совсем уж странно, что произошло-то? Вчера просто сказал: «Я завтра задержусь», – ничего не объяснял, давно уже понял: чем меньше объясняешь – тем лучше. «Но к двенадцати вы будете?» – уточнила секретарша, подняла голову, посмотрела внимательно. Строгая она у них и пунктуальная, но когда надо – и спасет, и прикроет, и учтиво отмажет наглцов и всяческих надоед. Он ценил её. «Буду, конечно, буду», – улыбнулся ей, уже натягивая пальто.

Двенадцати еще нет, а уже семь звонков от Нины Васильевны. «Приеду – выпорю». Спустил ноги на пушистый коврик, схватился за голову, посидел немного неподвижно, чтобы унять качание комнаты снаружи и подступы тошноты внутри, откашлялся, пробуя голос, и нажал номер секретарши: «Нина Васильевна, это я...». «Ох, Павел Александрович... наконец-то... Вы уже знаете?» Секретарша там явно плачет, всхлипывает. Он молчит, уже предвидит некий ужас, но молчит. И хорошо делает. «Опытный я, чёрт...» – успевает подумать. «Я только что освободинился (от чего освободинился? Ну, может, человек был на каком-нибудь обследовании, какой-нибудь зонд глотал, что ли, – избави Бог, конечно). Скоро буду. Подготовьте всё». (Что подготовьте-то? Сам не очень понимает. Но уже соображает, пока Нина Васильевна, хлюпая и прерываясь на вытирание соплей, рассказывает детали, что надо, надо готовиться к изнурительному напряжению предстоящих дней, а потом и к предсказуемым изменениям в институте).

И в ту же секунду распаивается дверь. На пороге стоит Юрка с мятой утренней мордой, в длинном багровом халате: «Покровский умер... ты уже знаешь?» – «Знаю, знаю...»

- Как наша Александра Викторовна, жива?
- Вообще говоря, не очень. Тахикардия и все прелести...
- Утреннее целебное вспоможение не пробовали?
- Обойдемся без твоих народных советов. Не тот случай. Говорю тебе – тахикардия. Там Шурочка с ней. Я, может, её в нашу клинику свезу – кардиограмму, что ли, сделаем, не нравится мне что-то...
- О, блин, этого еще не хватало. За Саньку ответишь. Оставляю тебе, подлецу. Ответишь головой. Спойл европейскую женщину, понимаешь, и доволен.
- Это я спойл?
- Ну а кто же? И меня спойл, старого дурака. А мне денёк предстоит... Ох-хо-хо. Приехали к тебе в гости как к человеку: хотел девушке состоятельного старого друга показать, чтобы деткам своим рассказала, чтобы они там, в Институте Планка, не очень заносились, – а ты и рад, попойку устроил.
- Ну, Пашка, то, что у тебя совести нет, я и раньше знал...
- Хо-хо, кто бы говорил... ну, я пошел в душ... и в институт.
- Когда похороны?
- Да откуда я знаю. Человек вот только что умер... Да, будь другом, позвони моему Стасику.
- Ага, теперь я друг, значит. Только что был подлец, теперь друг. Не заслужил ты, чтоб у тебя золотая рыбка была на посылках.
- Ой, ну некогда мне...

Через сорок минут шофёр Станислав, доверенное лицо и надёжный человек, стоя допивает кофе в нижней кухне. Шурочка подсовывает ему бутерброды. Павел

приглаживает еще мокрые волосы, от кофе отказывается, делает несколько глотков минеральной, внимательно смотрит на Стасика: «В институте был?» – «Был». – «Про меня спрашивали?» – «Ну конечно, спрашивали». – «Ну и чё ты отвечал?» От возмущения Стасик чуть не роняет чашку, трясёт головой, не находя слов, и все-таки находит: «Обижаете, Павел Александрович...». – «Какие люди, какие люди у меня работают», – бормочет Павел, застегивает портфель, подходит к Юрке, ласково тычет его кулаком в плечо, кивает Стасику: – «Ладно, поехали».

В машине Павел набирает свой домашний номер, но никто не отвечает. Проверяет звонки Тины. Три звонка за короткое время – обычно она ему не звонит, что-то не так. Снова набирает домашний номер, долго и со страхом ждет, наконец слышит голос матери, совсем слабый и далекий: «Никого нет, Пашенька. Проснулась – никого нет. Ушли все. Да, я спала, знаешь, очень плохо себя чувствую... Куда? Не знаю, милый, мне ведь не докладывают. А ты где? Ты когда будешь?»

Перед входом в институт стояли группки понурых сотрудников, курили молча, повернули к нему озабоченные лица, покивали ему, покачали головами. И он в ответ покивал и покачал. Быстро прошел сквозь проходную, пропуск не показал – новые времена даже в мелочах, не до формальностей – старая охранница знала его, конечно, все его знали – ничего не сказала, тоже потрясла головой серьезно, как будто смерть директора имела к ней какое-либо отношение. Но и посторонние какие-то проходили без пропусков: любопытствовали, вертели вопросительно головы, сновали взад-вперед, после турникета поворачивали направо – там институт сдавал в аренду обширные пространства мебельному салону: не построили еще мебельщики свой отдельный вход. Но строили – уже соорудили мраморные ступени. Замечательно будет смотреться высокое мраморное крыльцо на фоне облупленного, осыпающегося фасада (такая замечательная метафора жизни). В договоре аренды про фасад ничего не сказано, так что всё честно: фасад они бы не потянули, не стоило и заводиться, а так – платят исправно и правильными проводками, понимающие люди, уже почти свои. Лепешку у них там регулярно уцененные диваны покупает.

«Бюро пропусков» навсегда, кажется, закрыло свое окошко – и так всех пропускают. Начальник охраны, низенький приземистый мужик, безрезультатно наддувающий дряблые щёки, стоял, опершись на полочку, перед окошком в окружении своих трусливых дармоедов (беспрекословно легли на пол, суки, когда выносили из института платину). Павел нарочно на него даже не взглянул: увидел боковым зрением и прошел мимо.

Дверь в приемную была распахнута. И в приемной, и в коридоре тоже толпились какие-то люди – но тут уже были, конечно, только свои. Подходили, пожимали друг другу руки. Нина Васильевна вскочила из-за стола, роняя какие-то бумаги и папки, кинулась к нему – «ну наконец-то», снова заплакала. У многих женщин были красные глаза. Прошел к себе в кабинет, прикрыл дверь, сел за стол, откинулся в кресле. Минутку вот так посижу – понятно, что все хлопоты опять на меня... да, но минутку посижу. У-у-у, что теперь будет, ничего хорошего не будет: и раньше-то обносили институт, а без Покровского ничего от Академии и вовсе не перепадет, никто теперь не вхож, почти не осталось академиков – один жалкий болтается, ни на что не влияющий, погружен в свою старинную науку, с ним в Академии не считаются – мелкий член мафии. Тоска. Куды бечь?

Нажал кнопку: «Оля? Можешь зайти ко мне?». – «Нет, не могу». Отключилась. Или бросила трубку. Что-то новенькое. Ослабил галстук. Стало жарко. Заколело слева. Выщелкнул таблетку, положил под язык.

Ну уж нет. Сегодня точно не помру. Значит надо делать дела и жить дальше. Без меня ведь ничего не могут. Ну что вы можете без меня – только трубками бросаться.

Так... явились. Без предварительного звонка, даже без стука (да, тоже что-то новенькое) на пороге Нина Васильевна и Лепешко, замдиректора по «общим от-ветам», по прозвищу Блин, грузный, вздыхает так, что шевелится и взлетают мелкие бумажные листочки на столе. Тянет руку. Надо выйти из-за стола. О, сколько еще предстоит траурных рукопожатий сегодня, да и потом...

«Ну, Пал Алексаньч, наконец-то. Мы без тебя тут совсем голову потеряли. Нину вот измучили звонками. Где это ты скитался? В такой день...»

(Партийная манера – на ты, но по имени-отчеству; Покровский, напротив, со всей своей дворянской любезностью к очень многим обращался по имени, но непременно на вы: «Павел, вы не могли бы позвонить... Виктор, вы не могли бы возглавить комиссию?...»)

«Ты не возражаешь, если мы у тебя в кабинете соберемся? Там... понимаешь...» – махнул рукой в сторону кабинета Покровского. Павел понимал. Никто еще не отменил Первый отдел. Где-то эти люди должны же были работать. Куда их всех девать в эпоху безумного разгула Интернета и падения всяческих стен и преград? Так что они старались: рвение уже было не то, строгости, конечно, ослабли, но отдел работал – тоже надували щеки, кипучие бездельники. Очень даже возможно, что у Покровского оставались какие-нибудь закрытые отчеты или бумаги. Недреманное око должно было вникнуть. Что-то, может быть, снова закрыть, а что-то, всем уже давно известное, рутинное, великодушно отправить в открытый доступ.

Дверь снова распахнулась и вошла Марыся. Ну, эта всюду входит без стука. Глянула на него понимающе, глазами спросила: как ты? И так же заверила: не бойсь, не выдам. Хотел подойти к ней – поцеловать. Они всегда целовались при встрече, где бы эта встреча ни происходила: в лифте ли, на глазах у подозрительных кратковременных попутчиков, в приемной ли министра. Это был у них такой ритуал. Многие их долго подозревали в любовной связи, а потом перестали – ну сколько у человека может быть одновременно любовных связей. Да и не в нем дело. Видно же было, что Марыся и Валерий были настоящей парой, буквально Филимон и Бавкида какие-то, а по-нашему – старосветские помещики. Хотел подойти, но не подошел: боялся сделать резкий жест, слева все еще что-то давило, дышать и двигаться было трудно. И Марыся опять неслышно спросила: «Что, опять?» И он прикрыл веки: да, что-то... нехорошо. А ей вот ничего не делается: ночь не спала, пьянствовала со всеми, а поутру на своем месте – свежая и бодрая.

– Паша (она его по отчеству никогда не называла, даже на ученых советах, на всяких конференциях; можно было подумать, что нарочно – хочет выставить свою с ним дружбу, но нет, никто так не думал – уж очень она была естественная, однако всё равно он злился, и тогда она быстро поправлялась: «Павел Александрович», но здесь не сочла нужным), я к Надежде поеду. Хорошо, Паша? Я Стасика твоего возьму. Только туда. Договорились? Обратно я на такси...

– Конечно, Мария Васильевна, скажите Стасику. Он отвезёт. И подождёт – зачем такси. И вообще, распорядитесь сами. Если мне надо будет, я его вызову.

– А вы уж тут без меня решайте, ладно? Кто венки, кто поминки, кто транспорт оплачивать будет... С аренды, думаю, прилично накапало (Марыся бросает быстрый взгляд на Лепешко: аренда – его епархия. Он губы поджал. Знает кошка, чьё мясо... Не любит делиться. Но сейчас придётся...). Надежда меня ждет, я там нужнее. Я звонить буду. Как приеду, сразу позвоню.

– Да уж, пожалуйста, звони, и все-таки возвращайся: здесь ты тоже нужна.

Толстая Марыся плавно выплыла из кабинета, послав ему ободряющий взгляд. И он подумал, что если с ним что случится, именно она сделает все как надо. Добрая и властная, верная и надежная, с комплексом полноценности, но справедливая – милая толстая девочка. Никогда не жаловалась ни на здоровье, ни на

друзей, ни на врагов. Интересно, она плачет когда-нибудь? Когда хоронили Валерия, она не плакала; внук её рыдал – не плакал, а вот именно что рыдал, не мог остановиться: неокрепшая психика, так всё неожиданно произошло, инфаркт, катастрофический, первая неожиданная смерть в компании. Панихида проходила тогда в Большом зале, внук рыдал, задыхался, не мог остановиться, Марыся его за руку держала, как ребёнка, но сама не плакала – правда, была в темных очках.

– Пал Алексаныч, ты меня слышишь? Академия, такие гады, панихиду предлагают в Малом зале. Большой не хотят открывать: мол, ремонт у них.

– Какой, блин, ремонт, я там третьего дня был... говорит Павел и видит прищуренные, подозрительные глаза Лепешко – может быть, даже обиженные (знает, что ли, своё прозвище?), спохватывается, подчеркнуто вежливо, мягким своим голосом предлагает:

– Послать надо бы кого-нибудь из мальчиков, пусть ему зал откроют...

– Посылал уже, Пал Алексаныч, Соловейчика моего посылал, они ему зал открыли, а там в углу стоят заляпанные краской козлы – видать, только что специально притащили, и на потолке слегка накарябано – вот и весь ремонт, за двадцать минут можно убрать. Но упёрлись. Позвоните им, пожалуйста.

Нина Васильевна всхлипывает:

– Господи, академика уже по-человечески не похоронить. Малый зал... как же там разместиться? Опять что-то вымогают.

– Ну зачем вы так, Нина Васильевна... Ничего-ничего, всё образуется, сейчас всё решим, собирайте людей потихоньку.

– А поминки где? Как вы думаете? У нас или в Академии? Из столовой уже звонили...

– Нина Васильевна, голубушка, не думал я о поминках, побойтесь Бога! Не могу я так, не могу... Я еще даже Надежду не видел. Не обижайтесь на меня. Я же тоже человек. Ну вот... Вот сейчас сяду и тоже буду плакать. Собирайте людей.

Вспомнил вдруг почему-то, как Покровский несколько дней назад зашел к нему в кабинет совершенно просто так, уже к вечеру, не по делу, непривычно задумчивый, стал жалеть Надежду ни с того ни с сего: «Трудно ей будет без меня, не очень она приспособленная, дети хорошие, конечно, но дети, знаете, Павел, дети нас не понимают... все дети, и ваши, должно быть, тоже... они другие, да... вот с внуком у меня получается, он меня слышит – забавно, правда? Через поколение что-то передается, тип психики, возможно...». Зачем зашел – непонятно. Никогда прежде не говорил ни о семье своей (голос только его менялся, когда звонила Надежда: да, голос как будто скрывал собственную нежность), ни о чём таком постороннем, застёгнут был на все пуговицы, сдержанный, совсем отдельный, безукоризненно светский – никого не выделял, хотя Павел чувствовал его симпатию. Закрытый человек – а вот зашел, что-то хотел сказать, такой мессидж, как теперь говорят; нет, кстати, в русском языке аналога этому слову: ни «послание», ни «сообщение» не передают смысла. Что-то хотел сказать, но не сказал. Действительно, о чём нельзя говорить, о том следует молчать. Но можно было дать знак, что сочувствует, что понимает, что и у него, у Павла, с детьми не ах... чужие, совсем уж непонятные, еще и хуже – не может даже сказать «хорошие», мол, чужие, но хорошие. Далеко разошлись берега, и пространство этой холодной воды всё увеличивается, и не переплыть, и не докричаться на тот берег – нет на том берегу ни понимания, ни жалости. Но Павлу нужно было куда-то уходить, он уже собирал свои бумаги, торопился, слушал вежливо, формально участливо, но не очень вникал – думал о чём-то своем, о чём – и вспомнить сейчас не может, куда-то спешил, ждал, когда уйдёт.

«Господи, какой же я гад».

Народ потихоньку заполнял кабинет. Приходили тихие, молчаливые – начальники лабораторий, всякие заместители, всякие нужные люди, первый отдел (как без него), бывшие партийные, бывшие профсоюзные (первый отдел своих не бросает), занимали привычные места, обменивались рукопожатиями, многозначительными – десятки раз на дню жали друг другу руки. Сергей придвинулся к торцу стола на правах личного друга. Мигнул: «Пошли покурим, выйдем на минутку». Ну хорошо, выйдем, пока все не собрались. Вышли на площадку.

Сергей закурил, посмотрел внимательно: «Не хочешь переместиться в директорское кресло?» – «Нет, не хочу, ни за какие коврижки». – «Так ведь некому больше». – «Не волнуйся, найдут, и вообще... от нас с тобой давно ничего не зависит. Не сумлевайся: найдут покорного, шустрого, недалёкого, сравнительно молодого». – «Ну зачем... ну ты уж совсем, почему недалёкого?» – «А далёкие – они знаешь где?» – «Хочешь сказать, что далеко». – «Вот именно». – «Печально». – «Ничего не поделаешь». – «А может быть, все-таки попробовать? Было бы твоё согласие, а то люди начнут пиарить, а ты в кусты». – «Нет, категорически запрещаю». – «Думаешь, платину еще помнят?» – «Ну, и платину, да, кто ж это забудет...»

Кража платины своим размахом и наглостью потрясла не только дирекцию – все вдруг почувствовали, до самого последнего лаборанта и мелкого дипломника: всё, это уже всё, точка возврата пройдена, времена изменились непостижимым и чудовищным образом. В закрытый военно-промышленный институт, куда раньше, как говорится, мышь не могла проскользнуть без специального допуска, сквозь суровую военизированную охрану (ничего военизированного в ней не оказалось) прошли спокойно люди в масках, с оружием, с рациями, а может быть, просто с мобильниками. Положили спокойно охрану на пол, беззастенчиво переговаривались, уточняли порядок действий, знали, куда идут и все детали процесса: где платиновый сейф, где хранятся тигли, термопары, мешалки и прочее платиновое хозяйство – прекрасно были подготовлены. (Никто потом к гадалкам и не собирався ходить: все знали – ну, пусть, предполагали, кто их готовил.) Один, маленький, шустрый, как раз без оружия, но в вязаной шапке с прорезью для глаз, держал в руках список работающих в вечернюю смену, сверял списочный состав с наличным. Не досчитался одной работницы. Грабители насторожились: не побежала ли звонить куда надо. Но кто-то догадался сказать, что приболела, неожиданно приболела и не пришла, хотя все знали, что спит она в подсобке – сняла показания со своих печей и пошла поспать на часок. Так и проспала ограбление века, но зато избежала тумачков, – почти все их не избежали, а кой-кого избили сильно, до крови и сотрясения мозга – почему-то они злые были, эти грабители. Военизированная охрана весь этот час, пока шло ограбление, вела себя очень дисциплинированно: пролежала ничком, шевелиться было не велено. Стояли над ними два амбала со стволами – они и не шевелились, их не тронули, даже ногой не пнули.

Без платиновых тиглей и «лодочек» невозможно было выполнить американский контракт. И что ожидало Павла? – Следствие, скандал, неустойки, разрыв коммерческого соглашения и серьёзные материальные потери для всего коллектива, но еще более серьёзные для его удрученных руководителей. Павел и был руководителем и практически единственным распоряжался валютой (не всей, конечно, а той, что оставалась после необходимых отчислений... ну, в общем, понятно куда). Ангел-хранитель Павла, добросовестный и любящий, какой была в его жизни разве что старенькая нянечка, даже растерялся, пришёл, по-видимому, на короткое время в полное замешательство, но придумал маленькое чудо, из последних уже сил. Два беспечных стеклоvara не сдали платиновые тигли и мешалки в сейф, как было строгими правилами предписано, а кинули в угол, прикрыли ветошкой и

сели с чистой совестью разливать. Вот в этих тиглях и наварили американцам уникальное стекло. И вытянули контракт. Но министерство поволновалось.

«Ну и какая из этого мораль?» – спрашивали друг друга некоторые сотрудники после случившихся волнений. И сами себе отвечали: «А вот такая мораль: если в России по правилам жить, не выживешь». А другие встречали, когда их и не спрашивали: «А морали у нас – нет». Это были циники.

Павел отобрал у Сергея сигарету, бросил в урну: «Ни за какие коврижки. Понятно?»

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ПРЕКРАСНАЯ И БЕСЧЕЛОВЕЧНАЯ

Александра лежит на жестком больничном топчане в уютном закутке с искусственной пальмой, квадратным коричневым креслом и чайным столиком. Ноги её укутаны клетчатым пледом домашней мягкости. Велено полежать. Закуток отделён от остального пространства легкой белой занавеской на металлических колечках.

На стене висит яркий плакат, изображающий распостёртого на операционном столе мужика, к нему подбирается некто в зелёном хирургическом одеянии со злорадной улыбочкой и странной металлической штуковиной в руках. Надпись под картинкой: «Путь к сердцу мужчины лежит через грудную клетку». Александра приподнимается на локтях, потом садится, вытягивает шею, пытается понять сюжет, щурится и читает разноцветные несерьёзные букочки внизу. Оказывается, это реклама медицинского оборудования, нового прибора для быстрого выпиливания фрагмента ребра при операциях на сердце. Медики тоже шутят. Физики, кажется, своё отшутили. А медики продолжают шутить, кощунствуют по мере сил: ничего святого, особый вид юмора – медицинский, еще был студенческий, солдатский, компьютерный вот появился, албанский (или олбанский?) какой-то язык – слышать невозможно. Рядом плакат строгий, серьёзный, на нём всевозможные типы стентов, разного диаметра, в разные сосуды, изогнутые узорчатые трубочки, ажурные. Юркины, должно быть, изобретения, если не врёт, – говорит, что у него патенты. Суды патентные выиграл, европейские, теперь с них капает – вот на клинику накапало. По дороге рассказывал про свои стенты: возбудился, хвастался, что сам теперь физиков-химиков содержит, чтобы их осеняли всякие идеи. Да, представь себе, осеняют: придумали новый профиль, вырезают лазерным лучом, химики, вот, тоже пригодились: новые материалы, бесконечные тесты, за химиками еще и внутреннее покрытие стента, теперь лекарство дозированно поступает прямо в сосуд – получается такой протез внутри сосуда, а ты говоришь, наука никому теперь не нужна.

Поразительна эта вера в собственные способности, в собственное могущество. До сих пор сохранилась. Так ему внушили. На всю жизнь. Не ему одному.

Александра пробует повторить дыхательные упражнения. Шурочка еще в машине дала первые уроки дыхательной гимнастики. Действительно, если вот так вздохнуть, задержать, и медленно выдохнуть, сердцебиение можно остановить.

Там, за занавеской, идет напряженная жизнь: стрекочет какой-то аппарат, чьи-то торопливые шаги, легкие, женские, пронесли мимо – занавеска заволновалась и опала, – непрерывные звонки: кто-то отвечает по-английски с приличным произношением, fluently. Молодые теперь все по-английски свободно, вот что значит – мотивация.

Юркин голос, недовольный, начальственный. Говорит по телефону: «Нет уж, это ты меня послушай. Да, надо подчеркнуть: в нашей клинике применяются стенты системы "Костер" (произносит чётко, с ударением на «о», с твердым «т» – звучит вполне по-иностранному, Александра догадывается: это же его собственная фамилия). Подожди, я подойду к компьютеру... Так, дальше... Эти стенты покрыты специальным веществом, препятствующим образованию повторных сужений. Теперь

давай подписи под фотографиями. На фотографии, сделанной во время коронарографии, показано девяностодевятипроцентное сужение обводящей артерии... Не спорь, пожалуйста. Повторяю: девяносто девять процентов сужение. Так у тебя? Давай следующую. А вот результат после имплантации стента. Стеноз полностью исчез...»

Самоуверенный. Верит, что лучше всех всё знает. Так внушили. Или генетическая информация. Отец его, кстати, был генетиком. Фотографию показал как-то — отец его рядом с Вавиловым, с Николаем (одна эта фотография и осталась, совсем мутная, Вавилова можно узнать только с лупой — остальные фотографии, более чёткие, наверное, мать уничтожила, хотела спастись — все равно не спаслась). Или сам себе внушил, мать нашептала, когда вернулась за ним уже в детский дом: «Ты не такой, ты лучше всех, умнее всех, в тебе отцовские гены: учись изо всех сил, ты должен победить». Матери всё простил: она умела убеждать, такая же неистовая была, как отец, много о нем рассказывала, глаза горели до последнего дня. Да, внушила, а потом самогипноз, конечно. У него еще и случай особый: на историческую родину вернулся из провинции, из немыслимой нищеты, на всю жизнь был заряжен мстительным порывом — расквитаться за всех, за своих игрою счастья обиженных родов. За что? За то, что родители наши, пятою рабскою поправшие обломки, отсиделись в норках, проскользнули между струй. Считал нас виноватыми.

Но и на физическом хорошо внушали, с первой же лекции, не словами, а как-то так... в воздухе это было. Атмосферно. Внушили, что всё могут, всё могут понять, во всем разобраться, всё быстро освоить — к такой уж касте они отныне принадлежат. Научили учиться.

Юрка лучше всех научился.

«Слышали? Костерин выиграл выборы в каком-то Строительном объединении». — «Выборы? Директора?» — «Ну да, директора. Директором теперь будет». — «Фантастический человек». — «Да авантюрист просто». — «Нет, всё-таки он незаурядная личность. Вот вы бы так смогли?». Смеялись, рассказывали друг другу, восхищались, завидовали. Удивительные были времена, перестроечные, надежды кружили головы. Появились какие-то Советы трудовых коллективов. Директоров оживившийся народ выбирал тайным голосованием. Златоуст Юрий Сергеевич что-то вдохновенно наплёл обалдевшему собранию, обещал, что решит проблемы, знает, как — и тут же изложил свой план, то есть программу. Народу понравилось, и выбрали, а старого директора спихнули. У народа всегда есть зуб на начальство. Строительные боссы схватились за головы, вызвали, упрашивали (Юрка уверял: в ногах валялись): «Откажитесь. Ведь вы не специалист». — «Я же физик», — отвечал Костерин. «Но у вас же совершенно другое образование». — «Образование у меня как раз прекрасное. Я же вам объясняю. Я физик по образованию. Я доктор физико-математических наук. Я в принципе, понимаете, в принципе, во всём могу разобраться». — «Но вы не строитель», — приходили в отчаянье Заслуженные Строители и буквально ломали руки. «Ну и что, зато я — физик», — не сдавался Юрий Сергеевич и в глубине души начинал подозревать, что строители, действительно, слабоваты мозгами, чего-то не понимают, недаром такое плачевное положение в стране со всякого рода строительством: дома разваливаются от малейшего толчка и бетонные козырьки падают людям на головы. Так они довольно долго препирались. Пришлось строительному министерству своё строительное объединение расформировать, сделать из него шесть отдельных учреждений, должность директора прежнего Объединения автоматически ликвидировалась, и результаты выборов стали недействительными. Знакомый приём. Проверенный.

Кто-то скребётся в железную штангу, звенят колечки, белая занавеска отодвигается — появляется Юрка в белом халате, очень значительный, лицо строгое.

Александра почему-то смеётся: ей кажется, что это он для неё напялил белый халат, для важности. В этой частной клинике врачи в своих собственных элегантных одеждах принимают больных, она заметила, – создают обстановку доверия и спокойствия, только на операциях, видимо, во всём стерильном, в тускло-зеленом. А он, конечно, весь в белом.

«Зашевелилась? Тётя врач велела лежать, не дергаться». – «Да я уже чувствую себя совершенно нормально». – «Вот Шурочка расшифрует, тогда и посмотрим. Пашка в прошлом году тоже хорохорился, а чуть не помер. Вытаскивай вас потом».

Александра не подчиняется, остаётся сидеть, приучает себя к вертикальному положению, прислушивается к своим ощущениям: кажется, сердцебиение совсем улеглось, улыбается своим мыслям. Вот ведь как вышло, Юрка теперь опять самый нужный человек, нужнее всех прочих, близок к медицине. В такой возраст все вошли, вдруг стало важно – медицинские знакомства, связи всякие. А теперь именно у него серьёзные связи, спасает друзей-врагов, Валерия тоже, наверное, мог бы спасти, только не было тогда таких возможностей... (А Дом кино никому не нужен, тем более туда уже давно вход свободный, только смотреть нечего и не хочется.)

«Ну ладно, я с тобой посижу, – говорит Юрка, устраивается в кресле напротив, расправляет полы халата, укладывает руки на подлокотники, расслабляется, склоняет голову набок. Брови сдвигает. Глаза требовательные: "Ну давай, рассказывай"».

– Что рассказывать-то? – изумляется Александра, – я всё уже рассказала. Вчера.

– Всё рассказывай. Про вчера я ничего не помню. Это ты Пашке рассказывала. А теперь давай мне Расскажи. Причём честно. Хорошо тебе там? Ты там счастлива?

– Боже милостивый, какие вы слова здесь употребляете. Как я могу ответить? Мне там удобно. А здесь многое меня уже удивляет, многое стало непривычным. Прежде всего человеческие отношения.

– Тебя плохо встретили? Мы тебя мало ласкали?

– Встретили меня замечательно. Я говорю не о друзьях и близких, а вообще. О других людях. Вообще, понимаешь? Агрессию чувствую постоянно, в лучшем случае – равнодушие. Все относятся друг к другу безразлично, с таким пренебрежением, что ли...

– С пренебрежением? – переспрашивает Юрка, – вот как? Слово какое противное выдумала. Не понимаю даже, что это за чувство такое...

– Вот послушай, я в первый же день... или нет, во второй поехала в сберкасса, да, Сбербанк теперь. Было без двадцати два, я запомнила. Оказалось, что именно сегодня они работают с трёх. Третий четверг каждого месяца они работают с трёх. Я-то ладно. Но и местные приходят, ломятся в закрытую дверь, ничего не понимают, потому как про третий четверг каждого месяца – маленькими буквами в самом низу, это что ж, каждый раз надо высчитывать этот третий четверг, – плюются и уходят. А я остаюсь, раздумываю: куда деваться? Холодно, промозгло, представить не могу, что снова надо брести через продуваемый пустырь к метро. Решаю перекапаться, где-то переждать. Всего полтора часика моей быстротекущей жизни...

– Да, на Западе нет, конечно, этих дурацких обеденных перерывов. Ни в магазинах, ни, тем более, в банках. Но можно как-то приспособиться. Раньше ведь ты тут жила, и ничего, привыкла. Это совершенные пустяки. Я их не замечаю. Мне кажется, есть ради чего не замечать. Перерывы ей обеденные, видите ли, не нравятся.

Какие перерывы, о чём ты говоришь? Ты меня не понимаешь – ты все-таки послушай. Я решила где-нибудь эти полтора часа переждать. Вспомнила, что



здесь ведь рядышком Стрижевские живут. Представила, как я вырастаю на пороге. Без предупреждения. Предвижу их реакцию. Лежат в обмороке. Улыбаюсь. Подхожу к их парадной – кодовый замок, как у людей, но старинный, кнопочный. Но кнопочки-то быстро вычиляются. По истёртости и тусклому блеску. Все нефункционирующие кнопочки проржавели. Три кнопочки явно польвованные – блестят. Нажимаю, но дверь не поддаётся. Присмотрелась – оказывается есть еще одна, шестёрочка, для мизинца, не та сила у мизинца, потому и стёрлась меньше и не блестит. И дверь – ура! – открывается...

– Сообразительная ты, однако. Всегда была смышленная и толковенькая. Весь мир удивляется, какие наши люди находчивые, – а почему? А потому, что жизнь научила, мозги натренировала: вот видишь, и тебя приспособило к жизни наше проклинаемое прошлое...

– Кто это проклинает? Никто не проклинает.

– А с чего это ты решила, что Стрижевские дома? В середине дня. У них теперь все работают, а внук в детском саду, платят восемьсот долларов за него, представляешь – такие деньжищи, но я ими горжусь: преуспевающие, паразиты, а ведь не молодцы...

– Да, действительно, позвонила в квартиру – никто не отозвался, только собачка залаяла. Ну, думаю, хоть парадная теплая, погреюсь. Но... воняет чем-то. И грязно очень. Противно. Ну почему так? Скажи? У них ведь евроремонт, наверное, внутри и всё такое... Две квартиры на одной площадке купили, объединили. Почему парадная-то такая страшная?

– А я тебе скажу. У меня такая же история с городской квартирой. У меня квартира на Петроградской. Я её для Светки купил, когда мы разошлись, и ремонт сделал. Там внутри замечательно, но остальные-то квартиры – ну не все, но многие, остаются коммунальными. Они нас ненавидят. Классово чуждые. Даже если скинемся и отремонтируем лестницу – уже пытались, – всё равно специально загадят, причём зверски, с наслаждением, с яростью. Да. Вот так. Классовая ненависть никогда не умрёт.

О, вот какие слова вспомнил, «классовая ненависть», – это они с Павлом между собой именно так Юркины закидоны называли, а может быть, и в глаза говорили, теперь Юрка в другой класс перебрался: успел на старости лет вскочить на последнюю подножку последнего вагона, вскарабкался и всё забыл – забыл гневные вопли о справедливости, забыл голодные времена, даровую картошечку и вечную капусту, забыл, как ходил желваками за обедом у Пашки, а отказаться не мог: голод не тётка. Если напомнить – не поверит, что в пьяном раже разбросал громадную поленницу у них на даче, в Комарово, орал что-то безумное и швырял поленьями во всех, кто пытался его успокоить. Серёга под горячую руку попался. Кровищи сколько было. Все перепугались. Только тогда затих. Честная русская драка – до первой крови. Ох, если бы до первой. Это только так говорится – да нынче так даже и не говорят.

Не поверит, и не будем напоминать.

Да, так что я хотела сказать... Не могла я в этой вонючей парадной оставаться, хоть и тепло... Выхожу наружу. А там холод и деваться некуда. Зашла в маленький магазинчик – раньше это булочная была, теперь рыбный. Вдумчиво рассматриваю копчёные вкусоности. Девушка любезная подходит: «Что-нибудь желаете?» Островок вежливости. Благодарю и откланиваюсь. Дай, думаю, в аптеку зайду – здесь недалеко аптека была. Никакой аптеки давно, оказывается, нет. Добредаю до поликлиники. Поликлиника на месте, сильно облупленная, но ничего: в поликлинике можно долго и спокойно посидеть, никто не выгонит. Обхожу очередь стариков в регистратуру. Нахожу скамеечку. Сажусь, будто бы приёма дожидаясь, грущу, разглядываю надписи. На всех кабинетах грозные объявления: «Без сменной обуви

вход строго воспрещен», под угрозой стоит почему-то – «спасибо». Мимо шаркают пациенты, на ногах у них вместо сменной обуви полиэтиленовые пакеты.

– Да уж изобразила... ты посмотри вокруг – ты где находишься? Ты в обычной, нормальной клинике находишься. Не такая уж крупная клиника, мы вообще помещение арендуем. Есть и покруче. А у нас тут и томографы, и УЗИ, и стенты такие, каких и в Европе нет, – ты знаешь, какие я стенты делаю?... Мои ребята такое делают... ух, вам и не снилось. К нам из твоей Германии на операции приезжают.

– Во-первых, она не моя: я, между прочим, гражданка России.

– Ага, устроилась.

– А во-вторых, какая же это обычная клиника – это же частная клиника, это твоя клиника, а я говорю про простую районную поликлинику. А старуха какая-то плакала, что номерок ей к врачу не достался – поздно пришла, к семи, а там люди с пяти занимали, у неё лекарство кончается, ну да, наверное, бесплатное, плачет и бьётся в окошко регистратуры, её гонят прочь – а лекарство только врач выписывает. Я там час посидела, понаблюдала.

– Наблюдать приехала?

– Да уж. Не хочешь, а наблюдаешь. Помнишь, у тебя над столом в лаборатории был плакатик пришпилен, на первом компьютере напечатанный: «Пишем то, что наблюдаем. Чего не наблюдаем, того не пишем».

– Да, действительно... Какую чушь ты помнишь, однако. Я всегда говорил, что в голове твоей намешано столько всякой ерунды.

– Почему же это чушь. Это же о научной объективности. Чтобы не подгонять наблюдения под желаемый результат. Тогда это тебе чушью не казалось.

– А понимаю, понимаю. Ты хочешь получить объективный результат. Чтобы тебя не обвинили в предвзятости. Такие наблюдения и сякие наблюдения, статистика, функция распределения. А не кажется ли тебе, что прибор, внесенный в систему, тем самым уже её изменяет, т. е. видит по-своему, что это тот самый случай – хоть и не микромир, а общество... Ты всё по-другому видишь.

– Да ладно тебе... Прибор? Это я, что ли, прибор? Что я хотела сказать? А... в сберкассе-то я отправилась... через час. Как раз время подошло. Подхожу, а там на дверях другое объявление висит, бумажка на ветру, а на ней от руки, что работают они сегодня по техническим причинам с четырёх. Девушка какая-то подходит, говорит: «Я специально звонила, сказали – с трёх». Вынимает мобильник, звонит. Ей отвечают: «Не могли вам такое сказать, мы сегодня с четырёх». А видно: за занавеской чай пьют и смеются, весело им. А вот что они куда-нибудь в контору, в учреждение какое-нибудь придут, а их там тоже мордой об стол, про это они сейчас не думают – вот про какие я отношения. И вот еще, это уже не про отношения, хотя... Воздух вот, например. Как можно дышать таким воздухом?

– Ну прости, дорогая, тут мы виноваты, ты уж нас прости: воздух действительно отвратительный. Почему-то ты про наши пробки умолчала. Какое слово у тебя вырвалось? Удобно, да? Удобно ей там. А нам пусть будет здесь неудобно.

– Вы мне уже кричали вчера, что я вас бросила. Не стала с вами здесь бороться за лучшую, прекрасную и разумную жизнь. А жизнь-то какая короткая. Сам видишь... На эту борьбу мою единственную жизнь...

– Да, да, да... А понаслаждаться? И так столько упущено...

– Ну конечно, в вашем представлении мы только и делаем, что перелетаем с Канарских островов на Гавайские...

Рука в серебряном браслете резко отводит занавеску, Шуручкино улыбающееся личико, смеющиеся глазки... О, значит ничего страшного.

– Юрий Сергеевич, пожалуйста, прекратите раздражать больную! – говорит Шуручка, шуршит бумажными лентами – повесила их на сгиб локтя, как купальное полотенце, расправляет, склоняется к Юрке.

– Я не больная, – протестует Александра, – какая я вам больная?

Они уже не слышат её и не обращают на неё никакого внимания: увлечены и сосредоточены, рассматривают кривые и значки на своих широких лентах, расстелили их на коленях, произносят непонятные ей слова, нарочно непонятные, играют в авгуров, точно, Шурочка что-то там подчёркивает и обводит кружочками. Юрка иногда соглашается, хмыкает, кивает, а иногда изображает сомнения и озабоченность, задаёт вопросы. Шурочка терпеливо растолковывает, сомнения исчезают – видно, что им приятно находиться рядом, как же это Светка промахнулась...

– Ну объясните по-человечески.

– Первый раз – прощается, второй раз – запрещается, а на третий раз – не пропустим вас. Будешь у нас, Санька, под наблюдением. Не всё тебе за нами наблюдать.

– Где это «у вас», интересно? Я улетаю семнадцатого.

Юрка обращается к Шурочке, указывает на Александру, выставляет в её сторону развёрнутую ладонь:

– Я вот говорю этой больной женщине...

– Сам ты больной.

– Я вот говорю ей, возвращайся. Нет, серьёзно, возвращайся, Санечка. У нас такая прекрасная родина, по древним городам России поедем... Подлечим тебя.

– Конечно, прекрасная, но немного как бы – бесчеловечная.

– А не надо выходить из своего круга.

– Но иногда приходится: к врачу, в сберкассе, на почту, в жилконтору какую-нибудь.

– Ну бывает, конечно, бывает... Да... Но прекрасная?

– Но и бесчеловечная!

– Ну хорошо, пусть. Прекрасная и бесчеловечная... А я тебе так скажу: люди-то хорошие, хоть иногда и безжалостные, как дети. Порядки скверные – ну так не с порядками ведь живём.

– Откуда порядки-то взялись? Кто их придумал? Вот вчера слышала, у тебя, между прочим. Не помню, кто сказал, может быть, Павел, что два народа, две России уставились друг на друга... с ненавистью, ждут...

– А люди всё равно какие отзывчивые бывают. На днях возвращаюсь поздно, на метро, кстати. И мы, случается, на метро ездим. Машину вот Шурочке отдал – у неё там с матерью... Устал как собака и заснул, очнулся, смотрю – уже Озерки. Надо мной мужик склонился, пьяненький, держится за поручень, качается: «Ну, ладно, – говорит мужик, – пойду я. Приехал. Ты сам-то как? Дойдешь?..» Участливый. Сам еле стоит, лыка не вяжет, а позаботился. О чужом человеке позаботился.

– Ох, недодали тебе ласки в детстве, – насмешливо произносит Александра и спохватывается в момент говорения, но слова уже вылетели, ужасно получилось, неловко. Она делает волнообразное движение кистью, как будто развеивает дым, но от слов не отмахнуться. А может быть – и ничего. Инвалидам (есть такая теория) рекомендуют спокойно обсуждать свои дефекты, и всем прочим страдальцам советуют психоаналитики проговаривать свои комплексы, преодолевать их, так сказать, вспоминать и анализировать – и жить дальше нормально. Ну не было нормального детства у Юрки, а у кого оно было – у Пашки, наверное, да, было.

– Есть время собирать ласки и время раздавать ласки, – ни к селу ни к городу замечает Юрка, смеётся и смотрит на Шурочку – нет, не смотрит, а быстро и любовно взглядывает ей, кажется, подмигивает. Милая игра, весёлые шашни.

Шурочка сворачивает свои ленты, улыбается, опустив глазки. Сколько же ей лет, за сорок, это уж точно, а вот сын, вчера кто-то сказал, уже в аспирантуре – ничего теперь не поймешь: подтяжки всякие – или здоровый образ жизни? Как это может быть при такой экологии? Но всё-таки вполне молодая, стройная, лицо гладкое, умница, молчаливая.

– Ты, знаешь, когда приедешь, все-таки понаблюдайся, Hausarzt там у тебя есть? Ну что я тебе буду объяснять: здоровье от самого человека зависит. Все в конце концов сводится к обмену: чтобы молекулы правильно выстраивались и функционировали в нужном порядке, Ordnung, понимаешь? Знаешь такое слово? Мы можем только этому процессу помочь, ну и человек сам тоже, а хоть бы и сговнушением...

– Такими точно словами?... функционируйте, миленькие молекулы...

– Не волнуйся, там такие слова понимают. Ну всё, Санечка, ты одевайся, а я пошёл, Шурочка с тобой дополнительную беседу проведёт и бумажки все подготовит – твоему хаусарцу покажешь, zum Vergleichen, для сравнения динамики, так сказать, а вечером я за тобой заеду...

– Как? Опять?

– Не то, что ты думаешь.

Юрка задерживает за собой занавеску, через секунду уже орет на кого-то – нет, это он просто так разговаривает, и пока Александра одевается, она слышит его повелительный телефонный голос:

«Так, на чём мы остановились... Открыл?... Полностью окклюдированная... нет, лучше так, напиши просто: закрытая правая коронарная артерия. Проще, надо проще, но как можно точнее. Идём дальше. Открыл? Состояние после ангиопластики и имплантации трёх стентов. Правая коронарная артерия полностью открыта без остаточных стенозов. Проводник еще находится в задней межжелудочковой артерии. Процедура выполнена пациенту из Туркмении доктором Денбергом».

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Павел не смотрит на Тину, как будто её здесь нет: сделал отсутствующее лицо, взгляд устремил куда-то в стену, допивает свой чай, докусывает свой бутерброд. После вчерашнего крика: «И ты осмеливаешься снова у меня просить, он думает, что я всё забыл!» – они опустошенно и молча сидят за столом. Тина ждёт, когда он, наконец, уйдёт. Точно так же в полном молчании выпила свой кофе Настя, за руку выдернула из-за стола испуганную Сонечку. Девочка обернулась, взглянула расширенными глазами, побежала за матерью, чуть не сбив с ног выросшую в дверях Марину Сергеевну – страшную, всклокоченную, без зубов, с запавшими щеками, в какой-то ночной хламиде. Вцепилась в косяк костлявой рукой: «Пашенька, я должна тебе сказать...» – «После, мама, после...» – «Но я не могу есть эту еду, Валентина вообще никогда не умела готовить, а сейчас... я силы теряю от голода, но не могу прикоснуться к этой гадости», – дрожащим скрюченным пальцем ткнула куда-то в сторону плиты. «Замечательно, – неожиданно для себя вскрикнула Тина, – а кто съел пять котлет вчера? Кто? Я вас спрашиваю. Кроме вас никого дома не было». – «Ты считаешь котлеты? О!!!» – «Ну всё, я пошел», – Павел скомкал и бросил на стол салфетку, настоящую – не бумажную, а льняную. Салфетки эти еще со времен Пани были заведены. Паня их крахмалила, гладила, в серебряные кольца вдевала (кольца куда-то укатились, а салфетки остались.). Остановился, глянул, снова отвел глаза, выдавил из себя: «Панихида в двенадцать...». Повернулся, пошёл.

Марина Сергеевна задрожала всем телом, затряслась: «Постой, Пашенька, стой... с кем же мне поговорить. Ах так, ах так! Я удаляюсь и прошу меня не беспокоить... буду лежать, так меня и найдёте». Через две минуты возвращается как ни в чём не бывало: «Ничего не хочу сказать...» – «Вот и не говори, мама, не напрягайся». Павел охлопывает себя по карманам, достает какой-то листок, сосредоточенно читает. Старуха держит паузу и с достоинством начинает снова: «Ничего не хочу сказать дурного про Валечку: она всегда была хорошей женой, но Прасковья готовила лучше, ведь ты не станешь, Паша, это отрицать. Если бы не ваше

хамство и безразличие, Паня бы не ушла, и мы были бы избавлены от многих проблем. Я тебя, Паша, настоятельно прошу: съезди в Купчино, извинись, пусть Паня вернётся». — «Мама, никакого Купчина уже нет, и Паня давно умерла». — «Что ты несёшь, Паша? С какой стати ей умирать. Она здоровая деревенская женщина, привыкшая к работе и движению, выросла на деревенском масле... И не делай из меня идиотку, пожалуйста, — как это нет Купчина. Вчера только в новостях передавали, что в Купчино случился пожар по вине пьяных бомжей». — «Мама, это не то Купчино, это большой район, станция так называется, а деревни Купчино нет». — «И всегда была станция. И район этот. У меня там знакомые живут, а рядом Панина деревня — Купчино. Между прочим, бомжи эти... это же ужас какой-то, мне одна женщина с третьего этажа рассказывала...».

Тина вцепляется в собственные волосы (боль вернулась), сдерживает стон, поднимается, отворачивается, чтобы никто не успел заглянуть ей в лицо, — никто, собственно, и не собирался заглядывать, подходит к окну. За окном серая морось, непроглядная плачущая даль. «Я не хочу, чтоб ты увидел, как я заплачу». Нельзя ненавидеть больную старуху. Это грех. А лицемерное терпение Павла? Вот это не грех. Можно немного и потерпеть, а потом он уйдёт и всё забудет: и сумасшедшую мать, и её, и Андрея с его долгами, перфомансами и поперечными шрамами — всегда умел быстро переключаться, даже её пытался учить; на старом черно-белом «Рекорде» был такой рычажок, с трудом надо было его поворачивать, а сейчас совсем просто — пульт управления: нажал без всякого усилия кнопочку, и ты уже в другой программе.

И он уходит. Из прихожей доносится едва различимое лепетание: «Пашенька, надень дублёнку, погода такая обманчивая...». Клацает замок. Противный визг колёсиков задерживается на мгновения у кухни, медлит — но передумывает и заворачивает к себе, в конец коридора.

Вот и прекрасно. Тина остаётся одна, расправляет брошенную Павлом салфетку и вдруг снова комкает и с ненавистью бросает её в мусорное ведро.

Шорох за спиной, чьи-то руки обнимают её за плечи. Иринкина щека пахнет мёдом, молоком — или черёмухой или цветущей акацией, или цветами липы, чем-то молодым, пленительным и нежным: «Тин-Тин, не расстраивайся, плюнь и розотри». — «Девочка моя, если бы не ты, если бы не ты...» Иринка хватает из вазочки печенье: «Тин, я сегодня поздно приду, у Ксюшки день рождения, мы в "Саквояже" отмечаем». — «Сколько тебе надо? Ведь еще и подарок нужен...» — «Тин, ну ты даёшь, ты что, думаешь, я такая корыстная. У меня еще осталось, прошлый раз за меня Ден заплатил. Я тебе вечером расскажу. Ты знаешь, что он мне сказал? полный улёт, полный... Я такая счастливая...»

Тина еще не совсем понимает, зачем она включила компьютер. Прогулки в сети её уже давно не занимают. Ни выборы, ни митинги, ни глобалисты, ни антиглобалисты, ни марши согласных или несогласных, никакие новости, скандалы и катастрофы ничем не отзываются в душе. Запредельное торможение. Настя так и говорит: запредельное торможение. Медицинский термин: охранительная реакция организма на сильные раздражители — организм себя защищает от болевого шока. Предел работоспособности нервных клеток. Защищается организм. Постоянное, хроническое, запредельное торможение, с провалами сознания — вот зачем-то включила компьютер. Почти бессознательно. Какая-то мысль мелькала. Может быть, чтобы отвлечься. Нет, все-таки цель у неё была, только забыла... Но мысли бегут, сменяя друг друга, терзают. Заглянула в почту Павла — пусто, полковнику никто не пишет. Надо будет позвонить Надежде. А что сказать? Слов таких еще никто не придумал. Зашла к Иринке. Пубертатные страсти:



быть, она видит во мне приличную тетку? И продолжает: «Нет, погоди, Вова, вот девушка, взрослая, спокойная такая, вот я хочу, чтобы она мне сказала: это нормально – то, что ты вот сейчас мне говоришь??» Я смотрю на нее в упор и говорю: «Да, это нормально». По лицу парня кажется, что он сейчас заржет в голос. «Как нормаааально??» – выдыхает мама. Вова еще раз повторяет: «Мама, не надо ничего спрашивать у ЭТОЙ девушки! Она ничем тебе не поможет, спроси лучше вон у той», – и указывает на девушку рядом со мной. Та спит, запрокинув голову назад, в ушах у нее наушники. И вот в этом месте мама делает ход конем и спрашивает: «Девушка, у вас же, наверное, есть парень?!» Теперь Вова смотрит на меня в упор, я подавляю желание сказать «да». Вместо этого я говорю «нет» и понимаю, что шоу, сука, маст гоу он. Мама замолкает на 10 секунд, потом, еще не понимая, чем это закончится, спрашивает: «Почему?» Я глубоко вдыхаю и говорю в маршрутке, почти полной людей, совершенно незнакомой тетке: «Потому что я – лесбиянка». Мужик сзади подавился жвачкой. По боковому флангу заржали две девушки. Вова продемонстрировал ямочки на щеках и сказал мне: «ЗАЧОТ». Маме: «Я же говорил, мама, это не тот человек, который может тебе помочь...» Мама, видимо, поняла, что это есть всемирный заговор, и спросила у девушки рядом со мной: «А ВЫ? ВЫ ТОЖЕ ЛЕСБИЯНКА???» Девушка проснулась, встрепенулась, вынула из уха наушник и удивленно сказала: «Нет! Я – нет. А у вас какие-то проблемы?» Ржали все, даже почему-то мама Вовы. Но я думаю, это у нее нервное. В этом месте я гаркнула: «Остановите на светофоре!», – и вышла. Когда я закрывала дверь, Вова сказал одними губами: спа-си-бо. Думаю, ему еще будет весело, этому Вове. А я до сих пор чувствую себя замысловато.

Тина представляет, что переживает мама этого неизвестного Вовы, усмехается: мне бы ваши проблемы, если бы могла, сказала бы: это еще ничего, вот когда знакомый врач будет объяснять, как правильно нужно резать вены... чужую беду, как известно... Она снова просматривает почту Павла, по несколько раз читает одни и те же письма, уже понимает, что ищет какое-нибудь письмо Николая Башутина, но не находит. Зачем им переписываться – они и так видятся каждый день, и всегда был молчун, а после гибели Лидуши вообще никуда не ходит, ни с кем не общается, говорит только о работе, а из Южной Кореи будет писать на институтский адрес. Но он еще не улетел, это точно. А когда он должен улететь? Хотелось бы знать. И если у него есть... он без звука выложит. На что ему теперь копить...

В этот момент взрывается телефончик – Андрей, ну конечно, это Андрей, а ничего она не может ему сказать, мелькает подлое желание не ответить, подождать, оттянуть мгновение, но все-таки включает зеленую кнопку. И сразу же узнает голос.

«Приезжайте скорее, – шмыгающий, плачущий голосок, – я не знаю, чё делать. Ильяс тоже в отключке. К нам Скорая не едет: говорят, нет такого адреса, и он тоже не велит, боится – убьют. Велел вам звонить. Он сам не может. Приезжайте, пожалуйста, приезжайте...»

«Что, что, что? Подождите, подождите... что с ним? Как это он сам не может? Почему?»

«Я не знаю, он иногда сознание теряет. Я боюсь, приезжайте...» Бессвязный бред, ничего не понятно. Гудки.

Старуха стучит палкой в дверь, встала все-таки: «Что, что случилось?» – «Отстаньте, уйдите, не мешайте». – «Я всем мешаю, да, я всем мешаю...» – «Идите к

себе Христа ради. Да, мешаете вы, давно всем мешаете, уходите...» – «Тебя Бог накажет!» – «Уже, уже... опоздали со своими проклятиями».

Тина задыхается, хватается за ингалятор, потом за телефон, набирает Настю. Настя, узнав её голос, не слушает и агрессивно начинает:

«Мама, я тебя много раз просила на работу мне не звонить...»

Потом замолкает. «О Господи...» Молчит. Очень долго.

«Настя, Настя, ты слышишь меня?»

«Спускайся вниз, жди меня внизу, я за тобой заеду. Что? Минут пятнадцать».

Тина мечется по квартире, стонет, отталкивает Марину Сергеевну, собирает вещи: деньги, ключи, мобильник, ингалятор, натягивает сапоги, вдевает руку в рукав шубы, бросает её на пол – очень тяжелая, выхватывает из шкафа пальто, несется к лифту. В лифте, в зеркале, отражается её лицо с застывшими глазами. Аккуратно заправляет волосы под шапку, смотрит себе в глаза. Потом стоит у парадной. Похолодало. Медленные мелкие снежинки повисли в воздухе. Соседи проходят мимо, смотрят внимательно, слишком вежливо здороваются, как будто что-то знают, она кивает в ответ. Такси останавливается с резким визгом. Настя выскакивает, помогает ей забраться на переднее сиденье.

«Ты там уже была, покажешь, как проехать».

К счастью, таксист знает дорогу. «О! Богема и бомжатник в одном флаконе. Чё вы там потеряли...» Всю дорогу весело болтает, кокетничает с Настей посредством зеркальца, непрерывно его поправляет. Молчание Насти ему не мешает. Тина едет с закрытыми глазами. Запредельное торможение, отключение: животные отказываются выполнять простейшие команды и даже засыпают.

\* \* \*

– Куда это? Чё такое? – спохватывается водитель, – он же в крови ... Вы чё, охуели совсем, мне ж людей потом возить. А ну вылазь! Вылазь, говорю. Не повезу, слышь? Всё равно не повезу. Скорую вызывайте.

– Третья Градская! – повелительно бросает Настя и, не обращая внимания на вопли водителя, продолжает заталкивать Андрея на заднее сиденье, подхватывает его ноги, сгибает, двигает, утрамбовывает в темную глубину машины, садится сама с краешку, оглядывается и кричит на Тину:

– Мама, ну что ты стоишь, садись вперёд.

Водитель матерится, крутит головой, злобно скалится, открывает свою дверцу, выпускает даже ногу наружу. Тина с ужасом представляет, как он сейчас начнёт вытаскивать Андрея на проезжую часть. Но он... медлит. Настя протягивает ему пятьдесят долларов. Он шумно вздыхает, успокаивается, но ворчит:

– Евриками надо

– Перебьешься. Мама, да садись же наконец. Третья Градская. Знаешь?

– Ну!? Как не знать, барыня, – другой голос, совсем другой, придурочный немало, но не злобный, – Третья *Истребительная*. Как не знать.

Тина вздрагивает. Точные, незатейливые слова находит народ, чтоб ему пусто. Городской фольклор – замена гражданскому обществу. Неумирающая и горькая российская шутка. Жить-то надо.

– Ладно тебе, не пугай людей, у нас там знакомый... профессор.

– Ну, ежили знакомый... профессор... тады ничаго. А это, что ль, мужик твой? Что-то уж больно молод для такой самостоятельной...

– Брат.

– Ух ты, была б у меня такая сеструха, я б и не женился никогда.

Андрей что-то невнятно бормочет, что-то протестующее, но говорить ему трудно, язык еле ворочается, он стонет. Рука его прижимает комок окровавленной



тряпки к губам. На голове самодельная расплзающаяся повязка (зеленоволосая соорудила) в темных, уже подсохших пятнах. Извилистая струйка крови, тоже уже засохшая, тянется из-под повязки, вокруг уха, по шее вниз, за воротник.

– Ну ладно, разговорчивый, трогай давай.

Тина тупо смотрит перед собой, но сквозь отупение привычно отмечает, как Настя быстро справилась с таксистом, как вообще легко управляет такими людьми, всей этой сферой обслуживания: непринуждённо переходит с ними на ты, как-то ловко у неё всегда получается – при этом понятно, что она барская дочка, а вот он нанят на время, и его «ты» – это знак мгновенной симпатии и подчинения. Тина сама всегда боялась парикмахерш, таксистов, официантов, не знала, как с ними разговаривать, сколько давать на чай – не переплатить бы, и они, словно чувствуя в ней бывшую *свою*, не скрывали пренебрежения – так ей казалось, за версту чуяли севшую не в свои сани, отбившуюся от их стаи, забывшую их язык. А вот Настя умеет «себя поставить». Пятьдесят долларов, конечно, аргумент... Но не только. А движение, каким деньги протягивают – такое небрежное, а лицо такое уверенное, а повелительный голос...

Машина медленно трогается по колдобинам в обратный путь. Зеленоволосая девушка смотрит им вслед растерянно, светлая куртка её измазана кровью Андрея. Хорошая девочка. Тина не успела её поблагодарить. Бледный и надолго перепуганный Ильяс едва шевельнул рукой на прощанье.

В приемном покое им сразу же указали в конец очереди. Нам срочно, срочно. Видите, он уже без сознания. Посмотрели на них презрительно: «Здесь все такие. Без сознания. Ждите. Куда вы рвётесь, женщина, вам говорят: ждите, видите, что сегодня творится». Отвернулись. Безразличные.

«Пьяная травма?» – вопросительно выкрикнул тощий в бывшем белом грязном халате, просквозил мимо, толкая перед собой каталку с недвижимым телом. Единственный, кто обратил на них внимание. «Нет, нет, не пьяная... его убивали...» – закричала Тина и бросилась за тощим. Но он затолкал каталку в открывшийся лифт и плавно поплыл наверх.

– Мама, перестань метаться. Несколько выбитых зубов еще не повод... Сейчас тебе скажут, что здесь всех убивали.

– Денег пожалела – проценты свои боялась упустить. На ваших глазах брата и сына убивали... вы и пальцем не двинули. Только о себе, о себе...

– Да-да, о себе и своих детях. Я должна думать о своих девочках. Больше никому о них думать. А он о ком? Он о ком-нибудь, кроме себя, когда-нибудь думал?

– Я бы потом тебе отдала...

– Мы это уже слышали. Я уже сказала... За ним еще старый должок... И вообще, это не связано, понимаешь ты, кредиторы теперь никого не убивают. Какой смысл... Так вообще ничего не получают. Это совершенно не связанные вещи. Просто у них внутренние разборки. Пойми ты, наконец.

– Сама ты ничего не понимаешь. Это предупреждение. Ты что думаешь: он ссуду в банке брал? Откуда тебе знать, кто у него кредиторы. У него голова пробита... черепно-мозговая травма... Чем это грозит, знаешь?... Отёк мозга.

– Только, пожалуйста, без этих твоих предварительных диагнозов.

– Позвони еще раз дяде Юре, позвони...

– Мама, успокойся, его пошли искать, мобильник не отвечает.

– Позвони еще раз отцу.

– Ну я же звонила только что. При тебе. Ты же слышала. Ты уже вообще ничего не понимаешь, у него же такой день...

– У каждого свой «такой день». У нас вот «такой день», уже час прошел, как ты звонила... Позвони, тебе говорят. Всё время звони.

– Хорошо, хорошо, – устало соглашается Настя, отводит глаза, роется в сумке, достаёт пачку сигарет и зажигалку, – через десять минут позвоню, хорошо? Я пойду покурую, тут на площадочке, я ненадолго, ладно?

Андрей вдруг открывает глаза и жалобно просит сигарету.

– Я с вами с ума сойду, – всхлипывает Тина, – ты что, Андриюшенька? Здесь нельзя. Ты же в больнице.

Вдруг Тина спохватывается, кричит в спину удаляющейся Насти:

– Подожди, подожди. Боже, я совсем забыла, а как же Сонечка? Кто же её кормит? Старуха сегодня совсем плохая. Поезжай домой, я теперь сама справлюсь.

Настя останавливается, раздраженно вздыхает:

– Ирка накормит. Там есть котлеты и винегрет остался.

– Ирочка сегодня с девочками отмечает что-то в этом их... чемодане... для каких-то шпионок. Она задержится. Я забыла тебе сказать...

– Та-а-к... Понятно. Снова в «Саквояж»... Медом там намазано. На какие шиши? Ты опять дала ей деньги?

– Дай сигарету, сука, – шепчет Андрей.

Настя, не говоря ни слова, уходит. Андрей снова отключается, сползает по спинке хлипкого кресла, валится набок, ноги его скользят и шаркают по старому разодранному линолеуму. Тина с трудом удерживает Андрея, из последних сил, обнимает его.

– Сын?

Местная бабка самого низшего, низжайшего медицинского разряда, санитарка или уборщица, или, как раньше говорили, нянечка, остановилась перед ними, сцепила руки на животе, с любопытством разглядывает Андрея. Тина кивает. Бабка участливо вздыхает:

– Вот горе-то. Долго ждете-то? День такой. Не заладился с утра: и везут, и везут. Каталки вот кончились. Каталки надо теперь ждать, когда освободятся. Бабка поясняюще указывает на объявление: «Подача больных только на каталках». Объявление висит над кабинетом дежурных врачей. Очередь к ним давно не двигается.

– Я заплачу, – говорит Тина.

– Охо-хо-хо, пойду поищу...

Бабка ковыляет в конец длинного коридора и через некоторое время возвращается, везёт довольно подозрительную каталку – доисторическое сооружение дребезжит, колёса вихляются, дерматиновое покрытие почему-то зверски изрезано, но зато брошено к изголовью серенькое унылое одеяльце.

– Только ложь его сама, – говорит бабка, пряча в карман фиолетовую бумажку, – не обижайся: мне спину надрывать нельзя. И туда, туда кати, к девкам, они примут...

Девки – это озверевшие, сорвавшие голос медсёстры, принимающие несчастных. Ну да, это же приёмный покой. «Да нет – это чистый ад», – могла бы подумать Тина, если бы оглядела взглядом постороннего человека это просторное дурно пахнущее помещение, наполненное стонами и болью. Но, увы, она здесь совсем не посторонняя и оглядывается вокруг с жалкой надеждой на помощь. Она не в состоянии уложить Андрея. Но никто не идёт на помощь. И Насти всё нет и нет. И мыслей никаких в голове нет. А в голове одно лишь страдание. Когда Настя была маленькая, Павел спрашивал, целуя её пушистую головушку: «Что у тебя в голове?» – и Настя гордо отвечала: «В голове у меня – ум». И начинались бурные объятия и восхищенные вопли: любимая, умная дочка, красивая девочка. Такая у них была игра. А Тина как-то сказала: «А вот у меня в голове – одно страдание». Семейная, часто пересказываемая шутка. Она сама улыбалась вместе со всеми, делала вид, что да, тогда вот вырвалось, в тот неудачный, в какой-то не самый счастливый момент, но вообще – ничего, нормальная жизнь, вполне терпимо,

как у всех и даже лучше, намного лучше, чем у всех. Семья, двое детей, муж, квартира в центре, дача, да еще какая дача! получше, получше, чем у разных-прочих. Пусть видят, пусть знают, пусть завидуют – какое еще страдание. А вот ведь бьётся оно, не даёт дышать...

Тина одной рукой вцепилась в каталку: могут увести, такой народ кругом, нужен глаз да глаз – другой рукой обнимает Андрея, чувствует себя абсолютно беспомощной и незащищенной. Гипнотизирующим взглядом она смотрит на дверь и уже не замечает, что причитает в голос и зовёт: «Настя, Настя, Боже, сколько же можно...». Но дверь на площадку то и дело с жутким грохотом открывается и закрывается, как будто гвоздь вбивают ей в голову. Но появляются всё какие-то чужие. Озабоченные, бегущие, ковыляющие – ненужные. А Настя всё нет.

Так продолжается невыносимо долго. В прямом смысле. «Я больше не вынесу». Она понимает, что еще мгновение – и она сама соскользнет на этот грязный пол, где уже валяется её пальто, куртка Андрея, еще какие-то их вещи...

Настя врывается внезапно и бурно, как немислимое чудо, с прижатым к уху телефончиком и радостным воплем: «Дядя Юра, Юрий Сергеевич, наконец-то! Мы здесь, здесь, в приёмном покое, напротив ...»

– Отключите немедленно мобильники, – орёт одна из «девок», приподнимается из-за стойки и тычет куда-то вверх – там тоже висит грозное запрещающее объявление. Медицина должна быть строгой.

Настя как будто не слышит эти крики и продолжает разговор спокойно и громко.

И вот он появляется, Юрий Сергеевич, – огромный, толстый, спокойный, спустился откуда-то сверху. Высшее существо – оно наверху существует, недоступное. Перед ним все расступаются и затихают. Орущая медсестра тоже видит его, перекошенное лицо её мгновенно застывает, с некоторым усилием она закрывает рот и недовольно опускается за свою стойку – торчит одна лишь накрахмаленная шапочка, – через секунду снова орет, но уже на кого-то другого.

– Ну, ваше семейство не оставляет меня своим вниманием, – говорит Юрий Сергеевич и склоняется над Андреем. – Ну давай, голубчик, поднимайся.

Андрей открывает глаза, смотрит вполне осмысленно, уголком рта обозначает виноватую улыбку. Пытается приподняться.

– А вот каталка... – лепечет Тина

– Зачем?

– Ну как же... – и Тина показывает на кабинет дежурных врачей: *подача больных только на каталках.*

– Вот идиоты. Это к нему не относится.

– Ну как же так, а я заплатила...

– Ты, Валька, как была душой, так и осталась, – наклоняется к её уху Юрий Сергеевич, слегка понижает голос, но так, совсем чуть-чуть, формально. Все слышат. И Андрей, и Настя. И даже посторонние слышат и оглядываются. Ты хам, хам, хочешь сказать Тина, при моих детях... совести у тебя нет, ты как был хамом, так и остался, но сдерживается. А можно было бы и не сдерживаться. Андрею это не повредило бы. Юрка всегда разделял Павла, детей и её – она для него навсегда осталась кухаркиной дочкой. Но все-таки Тина молчит, глотает обиду и почти словами думает про себя: они меня не уважают, они все меня не уважают, никогда не уважали... и не любили, ах это стало тебе понятно только сейчас? нет, всегда, всегда... понимала. «Перетерпи, – внушала мать, и сама боровшаяся за молодого отчима тихими деревенскими средствами, – перетерпи, и всё пройдет, а зато он останется с тобой, куда не денется, вот увидишь, глупенькая, куда он не денется, потерпи немного, у тебя дети...» Вот и привыкла терпеть и сдерживать себя.

Откуда-то появляется инвалидное кресло с огромными колёсами, сияющее дюралевыми трубками, с мягким сиденьем и удобной подножкой. «Вот, пожалуйста,

Юрий Владимирович». Кто-то молодой, учтивый и старательный ловко разворачивает кресло, услужливо подсовывает, сильные руки умелого Юркиного сотрудника подхватывают Андрея под коленки и под мышки, без особого усилия, быстро, но осторожно, почти нежно, опускают его на мягкое сиденье, откуда-то взявшаяся третья рука поддерживает его голову, а четвертая рука устраивает его ноги на удобной подножке. Тина тянется к сыну, промокает ему салфеткой вспотевший серый лоб, на самом деле – просто хочет к нему прикоснуться, погладить. Юрка делает рукой отстраняющий жест, отодвигает Тину, ей кажется – просто отталкивает, и направляет кресло к лифту. И снова все расступаются, замолкают. Бледные, печальные, недобрые лица рефлексивно поворачиваются, провожают коммерческое кресло остановившимися глазами, смотрят без любопытства, без зависти, без надежды – к ним не спустится Высшее существо, они знают – и не ждут и не надеются. Надежды нет, но и смирения нет. Одно лишь беспомощное раздражение.

По дороге Юрий Сергеевич, свернув голову набок, уже начинает что-то выяснять и выспрашивать у Насти, что-то поучающее втолковывать – голос уверенный, лицо властное, – и Настя семенит рядом с ним, готова, как послушная, внимательная школьница, выполнить любое его приказание или просьбу. Лифт проглатывает их, смыкает челюсти и возносится.

Тина остаётся одна. Долго сидит в оцепенении. Через некоторое время на неё уже никто не смотрит. Все равнодушно отвернулись и погрузились в свои беды.

Она начинает собирать вещи, поднимает и отряхивает пальто, проверяет перчатки в карманах и шарф в рукаве, долго ищет завалившуюся в грязную темноту под креслом свою шапку, открывает и закрывает зачем-то сумку, бессмысленно щелкая и так слабым замком, наконец перекидывает пальто через руку, куртку Андрея прижимает к груди – воротник уже задубел, пропитался засохшей кровью. Куртка хранит запах Андрея. Она вдыхает этот запах, выпрямляется, взгляд обегает шумный и уже привычный ад, ищет медицинскую шуструю бабку. Но бабки нигде нет, и каталка тоже исчезла.

Слёзы вдруг неудержимо вырываются прямо из сердца.

И она плачет, плачет...

*Окончание следует.*